
ЗИФ

АЛЕКСАНДР НЕВЕРОВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ II

ШЕСТАЯ ТЫСЯЧА

„ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА“
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

АЛЕКСАНДР НЕВЕРОВ

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

Государственным Ученым Советом
допущено для школьных
библиотек II ступени

„ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА“
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД

Обложка художника Д. Митрохина.
Отпечатано в тип. ф-ки „СВЕТОЧ“,
Ленинград, Б. Пушкарская, 18,
в количестве 5.000 экземп.
Главлит № 68717.14$^1/_2$ л.
1927

Второй том включает в себя произведения Неверова трех первых революционных лет. Это — в высшей степени важные для творчества Неверова годы, когда он „нашел себя".

Первые рассказы, написанные еще до революции, но появившиеся в печати уже после февральского переворота, изображают деревню накануне революционного взрыва. Ее сильно встряхнула война; в ней уже имеются элементы нового (рассказ „Черное и белое" с ярким образом протестующей женщины, будущей „Марьи-большевички") — и вот-вот все готово вспыхнуть.

Несколько рассказов отражают империалистическую бойню — так, как она переживалась в тылу („В казарме", „Среди умирающих"). Рассказ „В плену" передает переживания австрийца, заброшенного в отдаленную русскую деревушку.

Затем Неверовым был написан ряд этюдов, в которых он попытался изобразить первые этапы гражданской войны. Любопытны совершенно неизвестные нашему читателю рассказы „На вокзале", „В коридоре под лампочкой", „Крест на горе" и „Сказка", написанные Неверовым осенью 1918 г., когда он оказался случайно „по ту сторону баррикад". Он видит страдания людей, страдания матери с ребенком на руках, у которой расстрелян муж, видит разрушенные деревни, поля, перерытые окопами, кресты над могилами бойцов на пригорках и перепуганного всякими властями — старыми и новыми — крестьянина. Неверов еще не порвал всех нитей со старым миром и потому не может стать безоговорочно на сторону нового; он в толстовском духе скорбит об отсутствии „любви" у людей и пытается остаться сторонним наблюдателем, — „я не судья", — наивно заявляет он.

Но проходит немного времени, и Неверов, снова попавший в советскую Самару, втягивается в круг советской действительности. События, общение с товарищами — проясняют его сознание, и в начале 1919 г. он пишет уже такие вещи, как „Красноармеец Терехин" и, особенно, „Я хочу жить", в которых ясно осознает смысл борьбы пролетариата с „живущими в верхних этажах", и сам готов стать в ряды бойцов.

В рассказах „Новый дом" и „Десять тысяч" Неверов мастерски изображает фигуру деревенского кулака и тип середняка-скопидома, неожиданно превращающегося в „спекулянта".

Интересна и первая попытка Неверова отметить положительные ростки нового строительства. Таков рассказ „П о - н о в о м у“, изображающий жизнь крестьян в только что организованной коммуне.

Два рассказа переносят читателя из деревни — обычного „места действия“ почти всех неверовских вещей — в город. Это — рассказ „С л у ч а й и з ж и з н и“, где выведен малосознательный рабочий, в котором, однако, под влиянием событий, остро просыпается классовое чувство. Второй рассказ — „К р о в а т ь“ — остроумная шутка над „советским служащим“, у которого политические убеждения меняются прямо пропорционально количеству полученных от советской власти удобств.

В конце тома помещены две первые пьески-агитки Неверова — „К о р о н а“ и „К о н т р - р е в о л ю ц и я“. Они не раз ставились в красноармейских театрах и шли с немалым успехом.

В приложении мы даем два стихотворения Неверова и две его агитационные статьи, показательные для характеристики Неверова, как публициста.

1917

В КАЗАРМЕ

Ночь. На улице холодно, в помещении душно. Лампы горят тускло. Внизу полутемно. В дверях сидит дневальный, уронив голову. Одно ухо дремлет, другое — слушает... Некоторые не спят еще. Кто-то стонет. Охватил себя за голову и легонько раскачивается. Напротив читают газету.

Оттого ли, что написано не тем языком, или оттого, что плохо светят лампы, но читается с трудом, с трудом разбирается каждое слово. Около чтеца—переводчик, рыжий мужик. Слушает и упрямо глядит в одну точку. Сам он читает неважно, но понимает лучше других и через каждые две—три минуты, как только чтец останавливается передохнуть, он отстраняет его в сторону и растолковывает непонятое...

В дальнем углу, около составленных ружей, на разостланных шинелях сидят татары, выставив голые пятки. Молятся. Один, постарше, что-то поет, убаюкивает, другие — затыкают уши, отплевываются и, падая ниц, по нескольку минут лежат неподвижно...

В другом углу стоит русский в одних исподниках. В темноте у него видно только спину и низко кланяющийся затылок стриженной головы. Он то беспокойно глядит на икону, сложив на животе обессиленные руки, то, распластавшись, лежит на полу.

Кто-то уж выспался и, попыхивая табачком из рукава, рассказывает другому:

— Сон сейчас какой привиделся. Думал—наяву... Домой будто бы приехал и купил две мельницы-ветрянки.

— Сразу две?..

— Да. Одну за сто за сорок, другую за триста. К чему бы такое?

— Ветрянки — к хлопотам! — объясняет другой. — Али бы спал не на этом боку... Я вот ежели усну на левом, — мне всю ночь вода приставляется[1], а повернусь на правый — серебро вижу...

Подходит богомол в исподниках.

— Не могу!—говорит он, присаживаясь.—Гляжу на икону, а вижу лошадь...

— Это ты плясал давеча?

— Я. Думал веселее будет...

— Или тоскуешь?

— Жена у меня не годится... Думается...

Я узнаю его. Он с одного уезда со мной, вместе призывался на пункте, вместе попал в одну роту. Он „отрубник“, т.-е. новый хозяин, живущий на отрубах. Вышел из общины недавно, перед самой войной и, не успев обстроиться, оставил свой сруб на бабу. На пункт он явился веселый, точно на ярмарку, и, таская холщевый мешок за спиной, говорил:

— Ничего, послужим... Хорошему человеку везде хорошо...

В роте тоже ходил петухом.

Ждал, что горе подойдет к нему спереди, но оно подошло сзади. Баба прислала письмо и пожаловалась на здоровье... Это напугало, расстроило и начало бросать из стороны в сторону. Иногда он плясал под гармошку, чтобы растрясти старую сосущую печаль, вернувшуюся с отрубов, иногда припадал к иконам, ища утешения.

— „Сумнительный“ я!—говорит он.—Может быть, и баба-то давно уж выздоровела, а я думаю вот...

Подходит Серега из четвертого взвода.

Его еще не „обмундировали“. На ногах у него — опорки, привезенные из дому, на плечах—пиджачишко без пуговиц.

— Оказия!—жалуется он, облокачиваясь на колено.—Опять у меня чайник испортили...

— Совсем?

— Ну да—совсем... Дудочку отломили... А вчера кружка пропала.

Серега—несчастный.

[1] Представляется.

Не кружка, так—чайник... Не чайник, так—ложка. Обязательно!

Маленькие и большие неприятности сосут его ежедневно и отнимают покой. Людям—отдых, ему—забота... Пришел когда в роту—деньги украли.

Серега не похож на мужика.

Глаза у него голубые, ребячьи. Смотрят удивленно, наивно. Ему двадцать шесть лет, а с виду—мальчишка. Грудь узенькая, плечи острые, одно повыше другого. Ходит немножко боком.

Но сердце у Сереги мечтательное...

Он, точно воробей к просу, тянется к плывущим мимо него звукам городской жизни и, перегруженный впечатлениями, которые мешают ему сделаться настоящим солдатом, „выныривает" из рядов на занятии, идет не „в затылок", не „в ногу" и смотрит на дяденьку усталым невидящим взглядом...

Рядом около нас лежат игроки...

— Три рубля проиграл сегодня!—шепчет один другому.— Теперь без копейки...

— Дурак, значит...

— Ну да—дурак!.. С полтину не дашь на недельку?

— Не дам...

— А можа дашь копеек сорок? Курить нечего...

Молчание.

— Катерина!—кричит кто-то во сне, вскакивая с постели.— Загони лошадей-то... уйдут...

В темноте на нарах вспыхивает свечка.

Там—Яша.

К нему, как к источнику в жаркий полдень, собираются жаждущие и ждут облегчений... В былое время из него бы могло получиться нечто особенное; теперь же он — только ворожец... Если кто собирается домой на побывку, то и на картах у него ложится „скорая дорога" с благородным королем в головах, а рядом—бубновая дама. Король — это, конечно, начальник, вроде ротного командира, приказывающего писарям написать увольнительный билет на десять суток, а „дама" — хозяйка... жена...

Яша радуется за других.

— Ну, друх, у тебя хорошо!—говорит он в таких случаях.

— Отпустят... Да и бабенка, видать, „ударенье“ [1] имеет сердечное... К тебе подлезает... тоскует...

Однако не всегда хорошо, бывает и хуже... Особенно если гадает на баб. С бабами больше одно недоразумение.

То „дама“ ложится не тут, где надо, то „шашни“ [2] заводит с валетом и что-то „зажиливает“...

В таких случаях Яша говорит:

— Не пойму!..

И винит во всем карты...

— На старых больше трех раз нельзя раскладывать... Путают.

А карты у него действительно старые.

В один год не мало воды утечет, а через пять—десять лет останутся одни пятна от знакомых встречавшихся лиц, одни воспоминания, как тучки, разбитые ветром, но стоит только вспомнить казарму, в которой я некогда служил, как вспомню и Яшу, и непременно в шапке, надвинутой до самых ушей, непременно на койке, с колодой [3] в руках... А вокруг, словно комары, налетевшие на огонек, больные, расстроенные сердцем. Тут и чувашин из Цивильского уезда, поднятый желанием погадать, и мнительный паренек, не получающий писем от своей молодайки, и покрякивающий запасной. Лица у всех серьезные, верующие, немного тревожные, но ведь и Яша не шутит... Перед тем как раскинуть „колоду“, он долго тасует ее, что-то шепчет, чудит, смотрит с внутренним переутомлением в добродушных глазах, источающих последнюю силу „пророчества“, потом щелкает по картам ладонью, и — таинство начинается...

Жаль только, что Яша неграмотный и живет не в шестнадцатом веке... Хотя обижаться ему не на что. Электричество ему не вредит... Народ везде как народ, и все, что лишено незримых таинственных страхов, где нет ни судьбы, ни счастливых случайностей, ни сказок, ни выдумок, — все это течет помимо него, в других берегах...

И когда я смотрю на Яшу, бескорыстно мучающего себя по ночам, на бородатых мужиков, с надеждой взирающих на

---

[1] Влечение.

[2] Интриги.

[3] Карт.

старые Яшины карты, что-то мешает мне посмеяться над ними...

Я—тоже мужик, тоже маленькая веточка, отломившаяся от большого вскормившего меня дерева, но около них я—лишний, не свой, идущий другими путями...

— Погадай!—говорю Якову.—Сердце что-то болит...

— А будешь верить?—спрашивает он.

— Разве нужно?

— Обязательно! Кто не верит, тому не выходит...

Я не верю, и гадать мне не стоит...

Серега верит. Он стоит рядом, и сердце у него бьется тревожно...

— Ну-ка, мне!—просит он, заикаясь.—Убьют меня на войне, или жив останусь...

Яша раскидывает, и на картах выходит—убить не должны. В будущем Серегу кто-то бережет и намерен сберечь до конца... Это очень хорошо, и Серега волнуется... Будущее ему не страшно...

„Земляку“ с отрубов не спится. У него тоска. Он ходит между спящих и отыскивает человека, желающего поговорить. Подойдя ко мне, он садится рядом и начинает качать головой.. Вслед за ним подходит Серега, переполненный радостью... Они сидят точно заговорщики, оглядываясь по сторонам, и способны сидеть до утра.

Я могу не говорить... Мое дело только слушать... Я слушаю и, убаюканный шопотом, засыпаю...

Просыпаюсь уже утром.

Около меня — вчерашние игроки. Один тащит за ногу, другой говорит:

— Эй, ты, солдат — кошкин брат! Вставай... Сейчас на занятье.

ДОМА

1

Последнее письмо от Матвея пришло в феврале.

Ему послали сала, сухарей, два рубля денег, просили писать почаще. Матвей не ответил. Ждали два месяца, думали разное.

Дед Ефим, оставшийся в дому за хозяина, начал ворчать больше прежнего, от раздумья частенько ложился без ужина. Катерина ходила к гадалке, прогадала десяток яиц. По картам выходило хорошо: письмо от бубнового короля лежит при дороге,—а сны говорили другое...

Наступил апрель.

Кузница у Парфена зашумела во-всю, не по-зимнему. С утра до вечера раздувались мехи, сыпались искры, курился дымок. Сам Парфен, лысый краснобай в кожаном переднике, подыгрывал маленьким одноручным молотком, а Мишка поденный работал большим. На призывной подмывающий стукоток, словно стадо на зов пастуха, плелись к ним плужки на починку, катились колеса.

Дед Ефим по привычке взялся за работу охотно. Тоже выкатил плужок за ворота, стал осматривать порчу. Тут же вертелся и Гринька-внучок, но пользы от обоих было немного. Гринька глуп, малолеток. Дед отработал. Глаза у него неважные, один совсем не видит. Порчу в плужке приходилось нащупывать пальцем.

Были и еще недостатки у деда. Болела спина в ненастье, стреляло в ногах.

Катерина за все принималась сама. Вместо ботинок надевала сапоги, по-мужичьи засучивала рукава у поддевки, ездила за

водой, кормила скотину, готовилась к пашне. Деда сажала с ребенком в избе.

Деду не нравилось это, от неудовольствия качал головой. Приходилось грешить и с снохой и с ребенком. Сноха не считала его за настоящего человека. Что делала—делала не спросясь, распоряжалась по-своему.

Ребенок не слушался. Часто пищал, марался, жаловался слезами. Дед поил его водой из ковша, обсасывал хлебную корочку, советовал умереть и с каждым днем убеждался: не стариковское дело сидеть с ребятишками. Старуха годилась бы лучше.

Своей старухи не было.

Приходилось мириться.

Дед и себе желал смерти, чтобы уйти от греха, а когда успокаивался, думал другое. Не все листья осыпались с дерева. Вешнее солнце да вешние тучки и его волновали не меньше других.

2

Сбежали ручьи, приутихли овражки.

Приутихла и Парфенова кузница возле реки.

Народ перебросился в поле. Первым выехал старик Непчелинцев. Дед Ефим тоже попробовал сняться с гнезда. Катерина сказала ему:

— Ты, тятенька, сиди дома. Я сама поеду.

Старик не поверил.

— А кто рассеет тебе?

— Рассеют—найдется.

С вечера в этот день Катерина пропадала до позднего. Где-то ходила, что-то делала. Когда вернулась, не разговаривая легла на кровать.

Дед не спал.

Думал, скажет что-нибудь Катерина.

Катерина ничего не сказала и тоже ждала. Не скажет ли старик.

Оба молчали.

Думали каждый свое.

Думать приходилось много, а дед не привык думать подолгу—мысли у него растекались. Жалко было Матвея, пропавшего без вести, жалко и хозяйства, которое ладилось несколько лет. На себя не надеялся — стар. Катерине не верил — баба.

И Катерина плохо спала.

Жила с мужем — не приходилось ломать головы. Жизнь шла сама по себе, как воз, нагруженный плохим и хорошим. Были несчастья, были и радости. Радости переживались подетски, несчастья приучили к слезам. Поплачет—легче. Когда взяли Матвея, тоже плакала: и утром и вечером. Потом увидела: горе — горем, а жизнь не останавливается от этого. Надо посеять, чтобы не шататься зимой под чужими окошками. Во-время намесить кизяков, чтобы не сидеть в нетопленной избе, выткать холста на рубашки, пошить, постирать, сварить, испечь.

Помощников нет.

Дед устарел.

К люльке поставить — сойдет за старуху и на завалинке покараулит наседку. Пустить за плугом — нельзя. Станет отдыхать через каждую борозду, пропашет всю весну одну десятину. Ждать, когда люди помогут, — земля зачерствеет.

Плохо.

Но Катерина не плакала.

Это очень нехорошая примета, что Матвей замолчал, но Катерина оставалась спокойной. Печаль отразилась в глазах да в мелких морщинках на лбу.

3

Заснули под утро.

Утром Катерина наскоро натаскала кизяков со двора, подоила корову, начала возиться около печки. Дед не любил сидеть сложа руки и тоже искал себе дела. Пока не просыпалась девчонка, заснувшая утренним сном, осмотрел хомуты под сараем, потолкался около лошадей, постоял у ворот с топором на плече. Хотел вытесать новые чекушки на заднюю ось,—Катерина позвала завтракать

После завтрака сказала ему, показывая на два горшка:

— В этом—Манькина каша, а в этом — твоя. Покорми, когда проснется, молока достань. Только тихонько, смотри не пролей.

Старик не слушал, что говорила сноха, думал — во сне все это.

— Катерина!

— Ну?

Хотел что-то сказать — слова подходящего не нашел. Не дождалась Катерина, вышла на двор. Вывела лошадей из-под сарая, надела на них хомуты. Одну лошадь поставила в оглобли, другую — привязала за грядку телеги. Насыпала семян на десятину. От амбара опять подъехала ко двору. Наложила бороны, вынесла севалку на старом Матвеевом кушаке, внимательно осмотрелась вокруг.

— Все.

На телеге, завернутый в шубу, сидел полузаспанный Гринька в отцовском картузе до самых ушей, держал на коленях кувшин с водой. Лошадь, привязанная за грядку, осторожно принюхивалась к запаху хлеба в холщевом мешочке, фыркала Гриньке в лицо.

Передумала Катерина, привязала ее за оглоблю.

— Ну, тятенька, оставайся. Уложишь девчонку, сходи на гумно, к вечеру начерпай воды лошадям. Не рано вернусь. А кашу вынь, не суши и Маньку одну не бросай. Гринька, держи кувшин—прольешь!

Тронулись лошади, телега покатилась вперед, прихрамывая на заднее колесо. Гриньку не видать было, прикрытого шубой. Катерина сидела на двух боронах, в черном зимнем платке, затянутом узлами, правила лошадью.

Смотрел дед, пока она ехала улицей, качал головой.

Течет вода.

Когда увезли Матвея, в жизни изменилось немногое. Плакали. И он, дед, плакал. Когда он чертил иконою крест над склонившимся под благословение Матвеем, у него тряслись руки, тряслась голова, испуганно гнулись колени. После проводов начал прихварывать. Жизнь раскололась на две половинки, и, стиснутый ими, шел он, как между двух ущелий, ожидая смерти.

Обманывает время.

Обмануло оно и деда.

К думам о Матвее стали примешиваться другие: хлеба были не все убраны, стояли овсы на корнях, путалось просо ветрами, торопливо стучали цепы на гуменниках.

День за день, как камешек к камешку, ложились они позади плотной стеной, из-за которой выглядывал тускнеющий образ Матвея. Когда приходили письма от него, деду казалось, что Матвей выехал только на время.

4

Поле было дальнее.

Под гору лошади трусили, из-под горы тянули шагом.

Катерина приехала поздно. Солнце стояло высоко, подувал ветерок. Рядом на других десятинах уже работали. Мальчишка с девчонкой гоняли лошадей в боронах, мужик с саженкой в руке стоял у межника. Раздувался чей-то сарафан возле телеги с поднятыми кверху оглоблями. По дороге скакала Ирина Лукьянова верхом. Вместо мужиков ковырялось бабье, вместо мужских голосов слышались женские.

Сняла Катерина бороны, примерила севалку на плечо. Кушак был длинный, севалка висела пониже колен. Посмотрела на Гриньку. Все еще в шубе, он стоял рядом не выше заднего колеса, по глупости просил хлеба.

Катерина сказала ему:

— Беги, сынок, поймай лошадь.

Лошадь, пущенная на десятину, прыгала дальше. Гринька замахивался болтающимися рукавами, а лошадь повертывалась к нему задом, норовила лягнуть.

Пришлось повозиться самой.

А когда Катерина вышла с севалкой, камнем висевшей на плече, работа не спорилась. Разбрасывала семена неровно, сбивалась с ноги. В горсть захватывала то больше, то меньше, зерна текли между пальцами, ложились не так и не тут, как ложатся у привычного пахаря. Подувавший ветерок относил их в сторону, сбивал в одну кучу. Катерина останавливалась, пригибалась, разглядывая плешинки, где не было зерен, сердилась на ветер, теряла трудовое терпение.

Гринька просился домой.

Одна лошадь ушла далеко, другая, привязанная за колесо, оборвала повод. Десятина 'лежала непочатой, огромной.

Где-то кто-то плакал.

Жизнь прожить — не поле перейти.

Через час навестил старик Непчелинцев с своей десятины, повесил севалку себе на плечо.

— Отдохни, устала.

— Сердцу тяжело, дяденька Степан.

— Я знаю. Мне тоже не легче.

И у Непчелинцева увезли двоих сыновей: одного из семьи, другого в отделе, но стоял он твердо, не гнулся. Чужое горе одинаково переживал со своим. На несчастья, какие творились с людьми, смотрел как на тучки, закрывающие солнце, верил: пройдут тучки, расплывутся, солнце засветит попрежнему.

Шел он по десятине ровной, уверенной поступью, в старой барашковой шапке, нагретой поднявшимся солнцем, кричал Катерине:

— Запрягай лошадей!

Дрожал и как будто качался крест на соседней колокольне. Громко насвистывал суслик, оттаявший после зимы, звенели жаворонки, невидные в синеве высокого неба. В траве под ногами ползали жучки, отогретые солнцем. Все торопились пожить кратковременной жизнью. Торопились и люди на десятинах. Точно ребята, нашедшие мать, припадали к земле, жадно сосали, скребли ее жирную сочную грудь.

Катерина успокоилась.

Наладила бороны, пошла за ними так же уверенно, как Непчелинцев, с просветленной печалью в лице. Гринька подгонял заднюю лошадь. Сидел верхом, держась за седелку, старался казаться большим, громко покрикивал.

5

Дед Ефим ничего не запомнил, что наказывала Катерина, и выполнил только одно приказание: добросовестно съел свою кашу, попробовал Манькиной. Манькина была повкуснее. Ковыряя ее для девчонки, дед невольно проглатывал сам. Манька не сердилась на деда. Он был очень доволен, что

она не сердилась, и в благодарность за это носил ее по двору, пальцем показывал на летающих воробьев.

Манька даже плакала меньше в этот день, меньше мешала деду думать свое, стариковское. А он думал, ворчал, раздражался. Все, что лежало,—лежало не тут. Все, что стояло,—стояло не так. Каждая малость сердила. Дед и раньше выглядывал из избы еще при Матвее, но упущенья такого не видел...

На огороде без призору лежали полозья от старых саней, гнили прошлогодние жерди, сваленные в кучу, валялись лубки. Обвиняя во всем Катерину, дед качал головой. Пробовал выходить на завалинку на улице, чтобы встретить кого из своих одногодков—таких стариксв не встречалось. Все были на прежних местах, позванные на службу вторично, потихоньку копались в полях, заменяя ушедших на войну сыновей.

В улице сидели девчонки, старухи в тени под заборами. Ребятишки пугали воробьев. Рявкал телок на лужке, растились куры, дрались петухи, гоняя друг друга по дворьям. Деревня в безлюдье казалась пустой, обкраденной.

Чувствовал дед себя одиноким, оторванным; недовольный, гудел точно жук, залетевший в ловушку.

Манька, пригретая тряпками, лежала на руках неподвижно: спала.

В избе было душно, под сараем прохладно.

Расстелил старик соломки под окном на завалинке, сверху прикрыл дерюжкой. Положил заснувшую Маньку, пошагал подзаняться кой-чем.

Прежде всего взялся за полозья. Перетащил с огорода на двор, приставил к плетням вместо подпорок. Перенес и лубки от телеги туда же. Добрался до жердей. Жердей было много, силы мало. Задохнулся от полозьев с лубками, присел отдохнуть. Отдохнувши, опять принялся за работу. Приподнял жердину — тяжело. Попробовал приподнять другую — не легче. Пока примеривался, опять устал. Потянуло еще посидеть. И солнышко светило нарочно для деда, согревая подпотевшую спину. Чуть-чуть подувал ветерок, пахло непросохшей сыростью огородов, приторным запахом навоза. Послеобеденная тишина, висевшая над деревней, навевала тягучую сладкую лень.

Никто не мешал деду.

Сидел он на жердях, погруженный в раздумье, и не чувствовал, как низко склонилась его голова. Старое тело, согретое солнцем, наливалось покоем. Видел дед, как дрожал, пригибаясь к плетню, уцелевший от прошлого лета полынник, видел и самый плетень, на котором охорашивался воробей. Слышал—гуси гагакали на реке; стучали вальком на мостках, но не слышал, как плакала Манька, положенная на завалинку. Заглохли старые уши для Манькиных слез.

А она с завалинки перекатилась на землю, со слезами доползла до ворот. Выскочил поросенок, начал обнюхивать ей голову. Подбежала собачонка и тоже начала обнюхивать Маньку, не зная, в чем дело. Два раза тявкнула под самое ухо, но Манька уже не боялась, не плакала, не кричала. Лежала спокойно с заворотившейся рубашонкой.

После налетели старухи, стали что-то проделывать с ней, со двора перенесли в избу. Сидел дед на лавке, чувствовал себя плохо. Сразу сказались все немощи в старом теле.

Маньку отходили, спасли наговорами, только сказали:

— Заикой вырастет с перепугу.

Вместо девчонки, свалился сам дед.

6

Катерина вернулась поздно. Еще дорогой узнала, что дома несчастье. В избе было тихо. В окнах горели последние отблески солнца, пятна уходящего дня. В углах на полу растекались бесшумные тени. Дед сидел на кровати с расстегнутым воротом у рубашки, держал на коленях заснувшую Маньку. Сам не ложился, пересиливая слабость, боялся. На лавке сидел дымчатый кот, товарищ по печке, щурясь косился на деда.

Бросив лошадей около ворот, Катерина прошла прямо в избу, остановилась возле кровати.

— Доняньчился, тятенька, спас?

Дед думал не об этом.

Да и к чему оправдываться после времени!

— Просила я тебя, наказывала.

Опять промолчал дед. Что случилось, того не поправишь. Только взглянул по-новому на Катерину, прося пожалеть и его, ненужного в старости.

Проснулась Манька, заплакала.

Заплакала и Катерина, передавая в слезах то великое, страданьем вошедшее, чего не могла передать на словах.

Стыдился дед взглянуть на плачущих, сидел, наклонив голову.

Гринька в отцовском картузе стоял с засученной штаниной на левой ноге, в упор смотрел на деда.

— Иди, лошадь отпрягай. Дедушка!

Заторопился дед, начал спускаться с кровати. Закашлялся, посинел.

— Не могу, невестка, силы нет.

Лошади не ждали. От ворот повернули в проулок, задели за угол. Не видя хозяина, пошли дальше. Вернулась корова из стада, начала калитку рогами отворять. Калитка была заперта. И корова повернула за угол. Овцы совсем не пришли.

Вот она жизнь! Хочешь бороться — борись. Нет силы — уступай дорогу сильным. А вешние ночи короткие. Лошадей прибери, корову прибери, про себя не забудь. Манька проснется — успокой Маньку. Утром опять на работу. Долго потянется такая жизнь, пока не вырастет Гринька.

— Не проживу! — думала Катерина. — Силы не хватит.

Ночью деду стало хуже.

Когда пропели петухи полночь на дворьях, на минутку заснул он, отдышался, окреп. Гринька с Катериной спали на полу под зыбкой. В зыбке над ними спала испорченная Манька. В темноте к деду подошла старая знакомая скорбь, идущая по одной дороге с ним, открыла ему старые незрячие глаза.

— Гляди!

Увидел Гриньку с Катериной, подумал:

— Не проживут, разорится хозяйство.

В сердце кольнуло, дышать стало трудно. Попробовал подняться—тяжело.

Утром Катерина сказала ему:

— Чего с тобой делать?

— Поезжай, работай.

— А ты как?

— Как-нибудь.

В этот день Катерина захватила с собой Маньку, завернутую в теплый платок, зыбку для Маньки, Манькину кашу, поехали в поле попозже вчерашнего.

Дед остался один.

Только кот дымчатый, товарищ по печке, одиноко расхаживал по избе, навастривая уши. Дед дремал на кровати, вытянув ноги, свертывался комочком. Жалко было Матвея, хотелось пошептать с ним напоследок, но образ его становился тусклым, и старик не узнавал в нем прежнего сына. Пролежал в бреду пятеро суток, глотая нагретый, испорченный воздух, на шестые вечером сказал Катерине:

— Привезла бы ты священника мне—умираю.

Катерина немножко рассердилась.

— До утра потерпи! Куда теперь ехать? И лошади с поля устали.

Дед и на это согласился.

— Ладно, потерплю.

И все-таки не дотерпел.

На похороны пришлось тратить два дня.

А когда домовину с дедом отнесли на кладбище, в избе стало еще печальнее. Вместо деда остался дедов кафтан с двумя заплатками на спине, да пара лаптей под кроватью. Сунулась Катерина в сундук, а оттуда выглянула Матвеева шапка.

Вот она жизнь!

Хочешь бороться — борись. Нет силы — уступай дорогу сильным.

Катерина не плакала.

Горе, как песок, садилось на дно. Залегло в морщинах, отразилось в глазах. Чем больше было его, тем упорнее шла она дальше.

Непчелинцев старик успокаивал:

— Держись. Упадешь—не встанешь. И слезами меньше расстраивай себя. Слезы—не каменная стена, от беды не укроют.

Катерина не плакала.

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

Дорога на Марьевку...

Она все та же, как и полгода назад,—неровная, поломанная, с выбитыми колеями... То, вытянувшись, идет под уклон, неожиданно падает вниз, в засеянный хлебом овражек, то снова ползет, поднимается вверх. Все так же по ней в одиночку плывут пешеходы, все так же стучат, дребезжат тележонки... Вот старый обветренный дед, которому все еще холодно с прошлой зимы. Он в полушубке и даже с застегнутым воротом. Сам покачнулся, и лошадь согнулась, подбрасывая телегу на рытвинах. Его обгоняет другой—помоложе, в малиновой кучерской рубахе. Сам он на козлах; в тарантасовой плетушке—баба с девчонкой. За ним выплывает еще один, обгоняемый пылью...

Ямщиком у меня Домна Порфировна, с которой я еду со станции.

— Народишко есть,—говорю я, показывая на пеших и конных,—не всех еще выбрали...

— Где вы видите народ?—спрашивает она.

— Как где? А вот... Посмотри, сколько мужиков, и все молодые.

Домна молчит.

Она что-то знает, чего не знаю я, но сразу не говорит, выжидает, и нас обгоняет еще тарантас. Сидящего в нем я не узнаю, но по сытой подпотевшей лошади, по базарной дуге с цветными узорами принимаю его за лавочника.

— Вот мужик,—показываю Домне.

— Это не наш.

— Как не наш?

— Не наш... не русский. Это австриец пленный, у краснорядца Пахомова работником служит...

— А сам Пахомов?

— Сам Пахомов похерился...

— Убили?

— Давно еще... осенью...

— Но... австриец...—говорю я, вспоминая Пахомова.—Он почему-то совсем не похож на австрийца...

Домна улыбается.

— Они теперь все в пиджаках. Все не похожи... Издали их не узнаешь.

— Значит, и тот—в малиновой рубахе—австриец?

— Ну да, австриец... а едет с ним Марья Пичугина с дочерью.

— А эти?—указываю на двоих в соломенных шляпах, окруженных девчонками.

Этих Домна не знает, не может признать, но они поворачивают к нам белые высокие лбы с насмешливыми улыбками на тонких губах, и сомнениям больше не место... На одном из них шелковая поношенная рубаха, подпоясанная вязаным поясом с большими кистями, на другом—черная суконная жилетка, расстегнутая на груди. Вокруг—девчонки в цветных полушалках. Сидят в стороне от дороги на выгоревшей от жары луговине и сыпят подсолнечной шелухой.

Сегодня воскресенье. В Марьевке базар, и девчонки спешат за гребенками. Австрийцы идут за компанию. В этих кучках, рассевшихся близко одна от другой, в этих новых неузнаваемых мужиках, поднимающих пыль, чувствуется какая-то близость, какое-то согласие, похожее на примиренность, и едут и идут они просто, легко и свободно...

Я не враждую, и злобы у меня нет к пришедшим на место ушедших, но посмотреть на них прямо смущаюсь... Они не похожи на пленных, которых я видел в вагонах, и я говорю:

— Нехорошо.

— Что?—спрашивает Домна.

— Зачем они переоделись?

— А зачем им торчать в своих куртках? Здесь не война, и они не солдаты. Здесь все одинаковы стали... Ничего нехорошего нет.

— Нет, Домна. Одежа — одежей, но есть и другое... Посмотри хорошенько... У них такое выражение, как будто они хозяева здесь. Один сидит на козлах в малиновой рубахе, другой скачет на пахомовской лошади, третьи идут за гребенками... как будто хозяева, а?

— Ну да, хозяева... прежних-то нет, и бабы приладились к этим.

— Как то-есть приладились?

— Эдак... Скажем, Пахомова баба... одна... Не все ли равно для нее, кто сидит в тарантасе на месте убитого мужа? Живет, помогает, есть на кого опереться, вот и хорошо... а кто он там — русский, австриец, — не очень-то нужно... Бабы так думают.

— А мужики как?

— Что мужики... Мужики тоже только от глупости в кулаки плюют, а правильно-то разобрать — напрасно все это... Ежели я захочу, никакие мужья не удержат, а ежели нет — золотых насажай — не плюну...

— К чему же ты это?

— Так... ни к чему... на язык навернулось... Греха теперь много с мужьями. Несчастья большие пошли... из-за ревности...

— Разве пошли уж?

— Как будто не знаешь. Про нас ведь и раньше-то басни плели, и раньше-то никто не сказал про нас хорошего слова, теперь же и подавно. С мальчишек привыкают в нас видеть похабное, и каждый гнилой мужичишко конфузит... Они-ста плохой народ... им-ста нельзя верить. За грош продадут... А разве Пахомова баба распутная, если человек ей пришелся по сердцу? Не он, так другой, а кто-нибудь нужен...

— А все-таки нужен?

— Вы не смейтесь... Дескать, на постель положить некого? Все мужчины так думают, а это неправда. Это приходит уж после... И тут виноваты не бабы... Сердце у них несуразное, бабье... Подойди к нему с лаской, согрей, и оно — не свое... Бабы проще мужицкого смотрят на это...

Домна взволнована.

Она такая смелая, уверенная, так гордо, не по-бабьи смотрят серые большие глаза под пыльными изогнутыми бровями, и мне не верится, что это—она, которую видел я раньше: она выросла, изменилась и вместе с физической силой в ней чувствуется сила духовная... Мне приятно ее возбуждение, приятно видеть вздрагивающие, играющие жилки на смуглых щеках, и я говорю:

— Все это верно. Но баб почему-то не хвалят...

— А мужиков кто хвалит?—спрашивает Домна.

Она снова возбуждается.

— Кто хватается походя за каждую грязную юбку? Вы думаете, тело они берегут? С „грехом" борются? Так вот... бахвальство одно... Едут домой на побывку, заезжают в торговый... Из дому едут—туда же... и нас заражают... Но мы и тут как бабы... Ладно... Муж гниет, и жена гниет. Куда же деваться? Жалеем... не ропщем...

— А что тут поделаешь?

— Тут?

Домна складывает кулаки и с силой разрывает их вправо и влево.

— Вот тут что можно поделать,— говорит она.—Это твоя дорога, это моя дорога... Иди... Шагай потихоньку, а жить я с тобой не хочу...

— Значит, развод?

— Развод ли, отвод ли—все равно... а жить я с тобой не хочу и гнить твоей гнилью не буду. Вот сделать так-то одной хоть на пробу—небось бы, не стали махать кулаками... А то ведь мы дуры... Эх, какие мы дуры... Ну и ду-у-ры... Приехал недавно Проворкин с позиции и давай шелушить свою Настю...—Сказывай,—говорит.—Что буду сказывать, Михайла Семеныч?—Сказывай, с кем жила... До меня слухи дошли.— А никаких и слухов-то не было, просто—ломается, а и клянется и божится—нет. Говори... Как так? Баба молодая, здоровая — и вдруг не жила. — Не виновата я, Михайла Семеныч,—отвечает ему. — Врешь. — Черного пятнышка нет на душе... — Врешь. — Испохабил, избил и уехал... Что это? За что?..

Домна и не чувствует, как она хороша в своем возбуждении, как много в ней силы.

— Я бы ему показала, как я виновата...

Я не знаю, что бы у нее вышло, но она говорит:

— Муж у меня тоже—такой... И мужичишко-то неважный, плюгавый, а спеси—пудовка... Считает себя господином. Я должна перед ним молчать и слушаться... Теперь на войне... Да и не на войне, а так, денщиком околачивается у какого-то офицера в Самаре... сапоги чистит... Тоже пишет мне... Ежели, говорит, тово... голову прочь...

— А ты?..

— Я ему тоже пишу. Любить тебе не запрещаю, дорогой супруг, люби хоть десяток зараз, но ежели захватишь от милой подруженьки, распрощайся со мной на-перед... А ежели захочешь показывать силу, как раньше, то сила на спину пойдет...

— Неужто не спустишь?

Домна решительно трясет головой:

— Не прежни теперь времена...

Я не только от нее слышу, что „не прежни теперь времена". Но какие же в самом деле теперь времена? А времена и вправду другие... Кто-то меняет людей... Кто-то невидимый сеет посевы, и они вызревают так сказочно быстро... Воспитание. Здесь его нет. Книжки. Но какие, откуда здесь книжки, когда и читать-то почти не умеют?

Это сделала война.

Это она вывела женщину на другую дорогу и навалила на плечи ей огромную тяжесть... Но женщина не упала под ней... она только окрепла и кроме женского почувствовала в себе человеческое... И если мужчина борется там, то женщина борется здесь... А воин воина, борец борца должен везде уважать... И женщины хотят, чтобы их уважали... хотят, чтоб считали и их за людей.

Встречаем мужика с мальчишкой...

На мужике австрийская кепка с австрийским значком, грязная полинявшая куртка с засаленным воротом, а свесившаяся с грядки нога обута в тяжелый австрийский ботинок на толстой подметке.

Этот остался австрийцем...

Едет с базара.

Во рту у него новенькая губная гармонь, на которой он пробует что-то сыграть, но мальчишке не терпится. В одной руке он держит кусок калача, другую протягивает вперед, дотрагивается до дядиной бороды и просит гармошку себе. Но дядя в эту минуту тоже маленький, меньше мальчишки... он что-то бормочет, трясет головой, весело скалит табачные зубы и нескладно поет на гармошке...

— Друзья,—говорю я, показывая Домне.

— Народ хороший,—говорит она, поправляя платок.

— Разве хороший?

— А что скажешь плохого? Пусть другие говорят... Я не слышала...

— Этот у кого живет?

— Этот живет с ребятишками...

— С какими ребятишками?..

— А вот тут за Марьевкой Банновка есть—деревня в четыре двора. Ну, там ребятишки... сироты... после Григория Смирнова. Самого убили, и жена умерла... ребятишки остались одни... Вот с ними и живет.

— И ничего живет?

— Говорят, ничего... Жалливый попал... Сначала-то он у Федора Карпухина работал, а потом перешел к ребятишкам... Видит, что ребятишки одни,—ну, и перешел. Федор на суд подавал, но суд присудил ему жить с ребятишками... Слышно, что мастер хороший. Печку сам переложил, окошки поправил, и ребятишки зовут его дядей Францелем...

Я оглядываюсь назад, но дядя Францель, этот хороший чудак, перекладывающий печи ребятам, уже далеко... Позади только курево пыли.

...Все едем и едем, а Марьевка будто бежит, убегает вперед. Уж и церковь давно показала нам крест с колокольни, и старый знакомый ветряк позагумень поклонился не раз и не два нам разбитыми крыльями, но воздух такой накаленный, сухой, неподвижный, и кажется, что мы не едем—плывем в нем и не можем доплыть.

Домна примолкла.

Дергая вожжи, она понукает, торопит уставшую лошадь, и на поджатых губах ее стынет улыбка. Лицо серьезное, строгое.

— О чем думаешь?—спрашиваю я неожиданно.

Но она не вздрагивает, не пугается и даже не поворачивает ко мне головы.

— Думаю, как жить...—отвечает просто.

— А как тебе хочется?

— Лучше... Не так мы живем...

Я наклоняюсь, будто вытаскиваю соломинку из-под ног, и сбоку смотрю ей в серые большие глаза.

Она вздыхает, и мы едем молча и думаем каждый свое...

НА ПОЛУСТАНКЕ

Нас пять человек. Дожидаемся поезда. Прохор Кузьмич в стеганом пиджаке лежит на полу, запрятав себя наполовину под лавку. Торчат одни ноги в пыльных немазаных сапогах. На лавке, прикрывши его сарафаном, сидит молодайка с грудным на руках. В углу, у окна — старик Ермолаев с красной напаренной лысиной. Напротив, около куба—старуха. В одной руке—кружка с водой, в другой—домашний сухарик. Мочит его, прячет за левую щеку.

Полдень.

В стекла бьются заморенные мухи, гудит заблудившийся жук, присаживаясь на старухину голову. За стеной однотонно гудит телеграф. Кто-то где-то молотком ударяет по рельсам. Резкие одинокие звуки утомляют, нервируют.

Душно.

Прохору Кузьмичу нездоровится, а вернее--не лежится. Швыряясь под лавкой, тащит туда сначала одну ногу, потом другую, на минуточку прячется весь. Под лавкой лежать неудобно, сердито ворчит:

— Ни за что не усну!

Молодайка отодвигается, подбирает распущенный сарафан. Из-под лавки выглядывает путанная седая бородка.

— Смотри, не зашиби меня. Поезд еще не пришел?

Старик Ермолаев из окна смотрит на платформу. На третьем пути с самого утра стоят нагруженные сеном вагоны, покрытые брезентом. Подают паровоз. Застоявшиеся вагоны медленно уходят под уклон, оставляя облако дыма, повисшее вдоль полотна.

Ермолаев задумчиво говорит:

— Сена сколько—уйма!

Прохор Кузьмич откликается из-под лавки:

— И все война, и все война. Сколько съест?..

Ермолаеву жарко.

Снимает шапку, ловит цифры, растущие в голове. Хочется сосчитать, сколько съест война, а Прохор Кузьмич перебивает:

— По-моему, миллиен она съест!

Говорит и не верит себе: очень уж цифра большая. Вылезает наружу.

Глаза у него голубые, слегка начинают портиться. Скоро к ним подступит „темная вода", и тогда ему крышка. Он тоже старик, но не такой, как Ермолаев. Моложе. И характером не похож. В разговоре волнуется, воспламеняется. Голос неуверенный. С громкого переходит на тихий, с тихого—на громкий.

Ермолаев—другой человек.

Говорит медленно, осторожно, точно на весы кидает каждое слово. Зря не обмолвится и походу не даст.

Оба из одного села, едут до города за шпагатом.

Старуха около куба кончает обед. Опрокидывая кружку, торопливо глотает последние крошки, набожно крестится в угол на мусорный ящик.

Ермолаев показывает на икону.

— Куда молишься, ошиблась!

Старуха не смущается.

— Бог-то не как мы, одноглазые,—увидит.

— А если не увидит?

— Не увидит, услышит.

Прохор Кузьмич смеется. Забывая про „миллиен", говорит со старухой про бога.

В „класс" заходят кривушинские. Их тоже пять человек: три мужика, две бабы. Шестая—собака с поджатым хвостом. Идет позади. В дверях останавливается. Зайти или нет? Мужик берет ее за уши, тащит насильно. Собака скулит. Просыпается „сосунец" на руках у молодайки. Становится шумно.

Кривушинские разбрасывают плевки, хлопают дверью, ищут случай с кем поругаться.

Полустанок пуст.

Не видать ни господ, размахивающих подожками, ни перепуганных барынь, потерявших носильщика. Кругом степное безлюдье, тонут случайные голоса. За полотном, возле почерневших щитов, стоят две коровы, разморенные солнцем, помахивают хвостами. В стороне, на навозной куче—ошалевший петух с разинутым клювом.

Не к кому придраться кривушинским.

Становятся смирными.

Едут они на переосвидетельствование. Возчиками бабы. Одна, помоложе, садится около молодого, другая, постарше,—около старого. Третий мужик без бабы, похож на гусака, потерявшего гусыню. Скучно ему без пары, садится около молодайки с грудным на руках; подмигивая, берет ее за плечо.

— Ты одна, и я один. Сядем вместе—будет двое.

Молодайка не прочь пошутить, но она едет к мужу. Нехорошо. Отодвигается.

— Отстань от меня!

Мужик не отстает.

— И поиграть нельзя! Я ведь не всю съем, оставлю...

— Не лезь!

Старуха сердито говорит мужику:

— Тебе не играть надо, а богу молиться. Ты куда едешь? В солдаты?

— Ну, и что же?

— Можа, убьют тебя там.

— Вот и хорошо перед смертью поиграть.

— Борода выросла, погляди на себя.

— Борода, бабушка, дура: не поливают—растет.

Старуха смотрит обиженно.

— Вот оно писанье: тут потоп идет, а они на лопате свадьбу справляют.

— Сама, что ли, читала?—спрашивает озорник.

— Не читала, да слышала.

— Ну, значит, ослышалась. Там по-другому написано...

Смех...

Старуха молчит.

Помоложе мужик ложится на колени к „своей“. Постарше мужик закусывает. Дома не удалось подзаправиться, торопился. Теперь баба ему подкладывает лепешек, доставая из мешка...

— А ты что не ешь?—спрашивает мужик.

— Не хочу. Дома поем.

— Можа, плакать хочешь?

Баба улыбается.

Прохор Кузьмич смотрит с большим удивлением. Лежат мужики на коленях у баб, грызут семечки. Бабы гладят по волосам их, словно маленьких. А тот, что без бабы, вьется возле молодайки, словно жук у раскрытого окна.

Когда уходят они за полустанок, где стоят отпряженные лошади, Прохор Кузьмич говорит:

— Наверное, бездетные, вот и не тужат.

Ермолаев судит иначе.

— Тут не в детях причина—в характерах. Легкий характер у кого, такой человек не любит тужить. Смешно—смеется и не смешно—смеется. Есть такие люди.

Сам он беспокоится: поезд не идет и домой ему завтра не вернуться. Пропадет целый день. А если целый день обменять на деньги, дорого стоит.

К вечеру подходит еще пассажир, портной Ерусланов. Тоже „бракованный“. Вышел из дома рано, пришел только к вечеру. Тяжело пешком, а у него ноша: мешок с провизией, саратовская однорядка подмышкой. Веселый. Сразу чувствует скуку, одолевшую нас, расправляет гармонь, обдувая мехи.

Ермолаев спрашивает небрежно:

— С забавой?

Ерусланов посмеивается.

— У кого лошадь, у кого гармонь. По-разному люди живут.

— Не лень тащить?

— Не я, она меня тащит.

Старик недоволен гармонью.

— Только теперь и заигрывать в такое время.

— А вот мы посмотрим, какое теперь время.

Гармонь у Ерусланова звонкая, на несколько голосов.

Подходят кривушинские.

Бабы решили переночевать на полустанке, провести лишнюю ночку с мужьями. Мужики подпевают Ерусланову, щелкают пальцами. Бабы пока в нерешительности. Старикам не компания, отходят в сторону. Прохор Кузьмич бьет себя по бедрам, ищет начальника, чтобы справиться, когда придет поезд. Начальника нет. Вместо него попадается сторож с фонарем в руке. Старик подступает к нему.

— А что, любезный, поездок придет сегодня?

— Нет, не придет. Ночевать будете здесь.

Это похоже на выстрел.

Прохор Кузьмич поражен.

— Значит, табак дело? Там день, тут день, сколько дней потеряешь? Под суд надо, мошенника.

Но кого под суд—Прохор Кузьмич не знает. Держит кто-то поезд, а кто—неизвестно.

Ходит он подавленный.

Ночь на полустанке длинная, скоротать нечем. И разговоров таких не найдешь, чтобы до утра проговорить. Думать все время—еще хуже расстроишься.

Ерусланов работает во-всю, поднимая гармонь над головой.

— Эх, ты, разлука! Соперница!

Прохора Кузьмича позывает к гармошке поближе, стыдится Ермолаева. Ермолаев молчит. Ходит по платформе не прямо, а полукругом. Сделает полукруг—остановится. Остановится—подумает.

Тоже тянет на народ.

Скучно таскать думы хозяйские.

Ерусланов с гармонью переходит за полустанок. Шагают туда осторожно и Прохор Кузьмич с Ермолаевым. Мужик без бабы пляшет комаринского. Другой, помоложе, уговаривает свою бабу:

— Пройди, Оганя, разок, чего тебе стоит? Потешь напоследок, пока я тут. А без меня усмирись.

Прохор Кузьмич тоже советует:

— Без мужа нельзя, при муже можно. Почему не сплясать?

Лицо у него веселое, морщины разгладились.

Оганя подбирает юбки, становится в круг.

— Отойди маленько!

Ерусланов кричит:

— Эй, вы, снохачи-лашадники! Горюны-печальники! Становись!

Ермолаев говорит, почесывая бороду:

— Ни за что не уснешь с такими озорником.

Прохор Кузьмич улыбается.

— Мы эдакие мужики. Где бы нам плакать—песни поем. Где бы песни петь—морщимся. Такой уж народ несуразный...

ШАПКА С ПЕРОМ

1

Учительница Рожкова начала копить деньги.

Перед „рождеством“ аксеновская попадья поехала в город, и Рожкова попросила купить ей шапку.

— Только недорогую и не особенно модную.

Попадья спросила:

— Почему же не модную? Нынче все носят модные.

О. Григорий тоже посоветовал—лучше модную.

— Купи ей с пером, как у Марьи Васильевны...

Попадья проездила три дня, а Рожковой они показались вечностью. Она даже похудела, впала в рассеянность. По ночам спала плохо. Лежала и думала: вот у нее будет новая шапка и жизнь от этого изменится к лучшему. Потом она сошьет новую юбку и будет копить деньги на шубу. На шапку она копила недолго: только три месяца. На шубу придется копить дольше, но это неважно: дней впереди много.

Шапку привезли в голубой коробке.

Рожкова занималась в школе, когда ее позвали в комнату. Думала, с просьбой пришли, вышла неохотно, а увидела мужика с голубой коробкой, радостно улыбнулась.

Шапка оказалась модной, с черным глянцевитым пером от невиданной птицы.

Уроки были не окончены, но от волнения Рожкова не могла заниматься, отпустила учеников часом раньше. Вынула шапку вторично, подержала, поняньчила, словно первенца, не умеющего говорить, бережно положила на стол. Отошла в сторону, посмотрела со стороны. Неуверенно надела на голову, остановилась

перед зеркалом. Зеркало было мало. Перо на шапке выглядывало только наполовину. Это немножко расстроило. Еще более огорчения вышло с прической. Старая прическа как будто не шла к новой шапке, надо придумать другую. А минутами казалось, что и шапка ей не к лицу.

Нервничала.

Распускала волосы на голове, опять собирала узлом на затылке. Повязывала серый пуховой платок, в котором занималась в холодные дни, отошла перед зеркалом печальная, огорченная, а шапка лежала рядом.

Прибежала Шурка-прислуга, Рожкова обрадовалась.

— Ничего не знаешь?

Пошла за перегородку, где стояла голубая коробка. Вышла оттуда в шапке, надетой немножечко на бок.

— Что, идет ко мне?

Шурка была удивлена.

— Как будто не вы стали—красивше...

Рожкова улыбнулась.

После себя надела шапку на Шурку, заставила пройти по комнате, и обе долго смеялись. Потом приходила лавочница Ольга, у которой Рожкова брала керосин, и тоже хвалила.

День прошел незаметно.

Никогда не проходил он так быстро и никогда Рожкова не чувствовала такого подъема. Позывало уйти куда-нибудь, встретиться с кем-нибудь, пошутить, посмеяться и рассказать, что на душе у нее очень хорошо...

Перед вечером они с Шуркой выходили на крылечко, но сидели недолго. Шурка грызла семечки, учительница беспокойно поглядывала на дорогу. Степные просторы манили к себе.

Сказала учительница Шурке:

— Затопи иди печь, я погуляю немного.

И пошла за околицу.

Под ногами похрустывал снежок. Влево от деревни вела дорога в другую деревню. Медленно поднимались мельничные крылья из долочка, а издали казалось: не крылья это—теплые зовущие руки. Сердце переполнилось радостью, Рожкова

запела. Потом вдруг умолкла. Оглянулась назад, пристально посмотрела вперед. Дальше итти не хотелось.

Подувал ветерок.

Солнце закатилось.

По темному заезженному проселку, обставленному вешками, торопливо бежали безглазые сумерки, таща за собой длинный утомительный вечер.

Рожкова стояла на дороге.

— Куда итти?

На ней была новая шапка с прозябшим пером от невиданной птицы, на ногах—старые калоши. Губы слегка посинели. В глазах дрожала досада.

Вернулась домой, долго ходила по комнате, не зажигая огня. Месяц выглянул, ударил прямо в окна. На подмороженных стеклах заиграли узоры. Раньше учительница очень любила маленькую комнату с белыми занавесками. Было в ней тихо, уютно, немножечко грустно, и учительница, уставшая за день, с удовольствием погружала себя в вечернюю тишину, далекая от людей и от жизни, зовущей соблазнами.

Теперь комната раздражала Рожкову.

Четкие узоры на стеклах нагоняли тоску.

Неподвижная тишина поднимала тревогу.

Шурка начала кипятить самовар — учительница отказалась от чаю. До половины вечера обе просидели молча. В девять часов потушили лампу.

Шурка спала с удовольствием, бормотала во сне непонятное.

Рожкова не спала.

Часы на стене пробили двенадцать, а Рожкова насчитала двадцать четыре.

Часы немножко ошиблись: в марте месяце учительнице исполнится двадцать четыре года.

2

Весь день шумели ребята.

От этого или еще от чего — у Рожковой разболелась голова. Лицо сделалось желтым, сжатые губы припухли. Когда вошла в комнату — удивилась. Потолок опустился ниже, стены

почернели. За ночь кто-то разбросал паутину по углам. На стене висела старая шапка, износившая цвет и фасон. Шесть лет назад шапка была новая, не мятая, и Рожкова по праздникам надевала ее под платок, когда ездила в гости.

Теперь шапка состарилась.

Рожкова вздохнула.

Шесть лет назад она тоже молодая была, на что-то надеялась.

И в то время, когда она была молодая, когда по вечерам штопала чулки, а в минуты отчаяния плакала от мужиков, обижавших напрасно, где-то шла другая жизнь, не похожая на ее, уместившуюся в маленькой комнатке с двумя окнами. Сидела Рожкова в этой комнатке, утешала себя мыслью, что она все-таки — учительница — крошечный огонек в темноте и делает хорошее, доброе дело.

Еще раз вздохнула.

Ноги ослабли. Захотелось присесть.

Села.

Захотелось полежать.

А когда легла на кровать, прищурив глаза, захотелось ходить.

Рожкова сказала:

— Что это со мной?

Прошла медленно по комнате, посмотрела в окно.

Улицей протащился обоз мужиков в больших нахлобученных шапках.

Вот так же понуро и скучно прошла вся молодость, нагруженная тяжелым трудом, тоской и одиночеством в глухом деревенском углу.

На крыше сидели прозябшие галки. Курился дымок. Еще дальше над степью висело разорванное облако.

Рожкова притихла, раздраженно смотрела на новую шапку. Шапка смотрела на нее. Скучно ей было в неразговаривающей тишине, и напомнила она об ушедшем, загубленном.

А через час Рожкова сидела над раскрытым сундуком, перебирая белье. Вытаскала все до последней тряпки, легла на кровать.

3

Вечером зашел Тюнин-старик за бумагой на курево, принес два кармана картошек. Раньше делалось просто. У Тюнина была картошка, у Рожковой — бумага из старых тетрадей. Делали они меновую торговлю и оба оставались довольными. А теперь Рожковой захотелось выкинуть картошку, чтобы никому не рассказывала о нищете. Захотелось и старику крикнуть, чтобы он никогда этого не делал.

Тюнина не было.

А когда писарев мальчишка, вместо писем, принес казенный пакет с круглой пачатью, Рожкова заплакала.

Села у стола и заплакала.

За стеной разыгрывалася буран. Окна залепило снегом.

По щекам у Рожковой текли слезы.

Молодость прошла и жизни нет.

Нищенка она.

Сидит в безлюдном углу, занесенная сугробами, унижается, молча хоронит надежды...

1918

СРЕДИ УМИРАЮЩИХ

1

Я здоров.

Как хорошо звучит это слово!

У меня вспыхивают щеки, радость волной заливает сердце. Не верится, что я здесь, в этой комнате, на лазаретной койке, в лазаретном белье. Хочется позвать кого-нибудь проверить, убедиться,—боюсь: смеяться будут надо мной, доложат доктору. Доктор станет спрашивать, не болит ли у меня голова.

Не хочу казаться смешным, лежу спокойно. Только улыбку не могу спрятать—весело!

Сосед мой скоро умрет.

У него темное лицо, впалые щеки. В зрачках расширенных болезненный блеск. По ночам он кашляет, задыхается, обеми руками держится за койку. В солнечные дни ему хочется посидеть у окна, но он не может: обе ноги у него забинтованы. Часто говорит мне:

— Посмотрели бы вы на улицу. Чего там делается?

Я по-ребячьи взбираюсь на подоконник.

— Ничего особенного. Вон горничная в белом переднике. Вон извозчик стоит на углу. Сам дремлет, и лошадь повесила голову.

— А снег еще не сошел?

— Нет, не сошел.

С крыш падают последние капли. В саду напротив чернеют дорожки. Приветливо целуются голуби на обогретой березке. За городом просыхают бугры на полях.

Об этом я не рассказываю.

Он скорее умрет, если узнает, что наступила весна.

Весенняя радость, недоступная ему, прикованному к койке, убьет его завистью, болью, чувством ненужности, и я говорю:

— Скучно на улице, скучнее, чем здесь.

Опять он говорит мне:

— Зачем вы обманываете? Теперь—весна.

Я отворачиваюсь, будто не слышу, начинаю легонько стонать. У меня ничего не болит, но я притворяюсь больным. Я уверен, что делаю это для него: легче ему от этого.

Койки наши рядом.

Между ними крошечный столик. Часто вижу я перед собой умирающий взгляд, ищущий утешения. Останавливается на мне даже ночью, когда я не сплю, мешает думать о жизни. Прячу лицо, кутаюсь в одеяло—слышу голос:

— Вам нездоровится?

Днем я хожу по палате.

Левая нога у меня короче правой, слегка прихрамываю, спотыкаюсь, но я уже хожу, начал учиться ходить без поддержки — на лице моем радость ребенка. Палата маленькая, не более двух сажен в длину, а для меня кажется огромной. Пройдя по ней, останавливаюсь отдыхать, с благодарностью смотрю на свою неокрепшую ногу.

Выхожу в коридор.

Длинный он. Долго плавают по нему оброненные звуки. Вхожу робко. Хочется весь пройти его, заглянуть в каждый уголок, спуститься по лестнице, по которой внесли на носилках меня, потрогать метелку. Не знаю, что за удовольствие будет, если я подержу метелку в руке, но так сильно хочется сделать это, и я, улыбаясь, иду вдоль стены.

Навстречу плывут, как и я, загребающие ногами. Мне не грустно смотреть на них. Хочется кого-нибудь подтолкнуть, рассмеяться, присесть, побеседовать. Никогда я не был таким счастливым, как теперь.

Я здоров.

А около меня умирает человек.

Неподвижное тело с перевязанными ногами мешает мне радоваться. Ему тоже хочется жить, а он умирает, должен умереть за меня, за других, начинающих ходить без поддержки. Лежит все с той же покорностью на темном лице. Голова

приподнята, руки сложены на груди под одеялом. Издали кажется — спит... Но он не спит. Он думает обо мне, мысленно бродит за мной. Грустно вздыхает, увидя меня.

— Все лежу, брат!

Мне хочется пожалеть его. Сажусь на койку рядом, долго глядим друг на друга... Он шепчет:

— Какой вы счастливый!

Я начинаю уверять, что и он скоро поправится, будет ходить по коридору, стоять у окна, спустится по лестнице, уедет домой...

В глазах у него слезы.

— О чем вы? Зачем?

— Жить хочется!

Я хочу что-то сказать, в чем-то разуверить, а он повторяет с упреком:

— Жить хочется. Не встану я, чувствую. И жизнь, о которой вы рассказываете,—не моя жизнь, и хорошо будет вам, а не мне.

Говорит долго. На желтых щеках проступает румянец. В завалившихся глазах вспыхивает раздражение.

Мне грустно.

Серое, тоскливое лезет в душу, ткет в ней свою паутину. Сбросить хочется цепкие руки, улыбнуться, вздохнуть полною грудью. Я уже страдал за себя, страдал за других. Кто-то требует страданья еще за соседа по койке. Кто-то поворачивает лицо мое к нему, покрытому одеялом. Когда хожу по коридору, жадно тянусь к жизни — слышу укоряющий голос:

— Какой вы счастливый!

Разве я виноват, если один из нас лежит неподвижно? Разве я не могу радоваться, если около меня умирает человек? Он умрет раньше, я умру позже—не все ли равно?

И все-таки я не могу решить: так это или не так. Оттого, что не могу решить, в душе моей пусто, темно.

А в городе весна.

Деревья в саду еще не распустились, у корней поблескивает серый оседающий снег, но тучки плывут по-весеннему— в одиночку. По улицам текут людские потоки. Весело пофыркивают автомобили, гремят дрожки, обтирая просохшую

мостовую. Там свое сердце, и питается оно вечно свежей, волнующей кровью, не болит, не печалится о тех, кто раздавлен.

Стою у окна.

Я здоров и, как цветок, выросший над водой, любовно погружаю себя в эту воду...

2

По ночам у нас тихо и жутко.

Перед сном заглянет сестра в белой косынке, кивнет, улыбнется привычной улыбкой, и мы остаемся одни. Четко стучат каблучки уходящей, странно-волнующе тонут одинокие звуки в пустынном коридоре. Мысли мои потухают одна за другой.

Я не ропщу.

Я уже прожил лучшую половину своей жизни — остается немного. И то, что остается прожить, берегу с любовью, со страхом, как дорогое вино, чтобы опьяниться им, но сердце в вздрагивающей ночной тишине тоскует.

Может быть, виноват сосед с жесткой небритой бородкой, торчащей поверх одеяла. Может быть, виноваты сухие, бескровные руки его, положенные на животе, как у мертвого.

Не знаю, отчего тоскует мое сердце.

Сижу на койке, точно грач на маленьком обтаявшем бугорке, удивленно ворочаю головой. И угрюмая тишина с застывшими шорохами и резкие тревожные звонки из соседних палат наводят отчаяние.

Сбрасываю одеяло, осторожно сползаю на пол.

Хочется успокоиться, развеселиться, дотянуть до утра.

Кругом безотрадно, пусто. Не видать ни деревьев, наливающих почки, ни черных просохших дорожек в саду. Ухожу в коридор. Кроме меня да моей тени, остановившейся на белой стене, там нет никого. Круглые большие часы над столом бесстрастно считают мунуты. В часах сидит кто-то бессмысленный, равнодушный и двумя стрелками, бегающими по белому кругу, как двумя топориками рубит на мелкие части ночное тоскливое время...

Сосед не спит.

Бесцельно смотрит в потолок, думает свое, обособленное. Спрашивает:

— Вы ничего не слышите?

Нервы мои никуда не годятся.

Сижу лицом к нему, вытянув шею, смотрю в одну точку. Точка растет, увеличивается, сердце бьется толчками. От дверей, бесшумно рассекая полуосвещенные сумерки, лезет на меня неясное, темное. Приближаясь, покачивается, и к ужасу своему я вижу перед собой человека с окровавленным лицом. Левый глаз у него вытек, правый неподвижно глядит на меня. Я хочу подняться, сдвинуться с места — нет силы. Сижу, точно прикованный.

Сердцу становится больно.

Испуганно хватаю себя за голову, закрываю глаза.

— Что с вами?—спрашивает сосед.

Смотрю на него—не узнаю. Вижу путанную бородку, руки, сложенные на груди. Из-под одеяла выглядывают белые бумажные носки на перевязанных ногах. Опять лезет серое в душу, ткет в ней свою паутину. Знаю: это только до утра, до первых лучей солнца, которые весело позовут меня к жизни; но как пережить? Ночь длинная, тишина наполнена призраками, и уже не верится, что будет утро.

Сосед мой тревожится.

— Что с вами?

Я не отвечаю.

— Почему у вас такое лицо?

Молчу.

Я знаю: лицо у меня нехорошее, злое, и все-таки не отворачиваюсь. Нарочно смотрю с вызовом на слабого, умирающего товарища, сверлю его злыми глазами.

Зачем делаю это?

Глаза наши встречаются.

Стискиваю зубы, чтобы нарочно казаться свирепым, — он не выдерживает. Взгляд его тухнет, глаза закрываются. Я лежу на койке, завернутый в одеяло, боюсь шевельнуться. Подойти бы к товарищу, взять за руку, успокоить, утешить—не могу. Вынуть бы, раздавить злое сосущее чувство — сердце кипит досадой и жалостью.

Странные люди!

Оба сидим на одном берегу, выброшенные с одного корабля, а все еще делим что-то между собой, в чем-то упрекаем друг друга.

А когда в окнах появляется первая утренняя полоска, осторожно раздвигающая темноту, делается легче, отраднее. Я засыпаю без злобы и горечи, прощаю себя и товарища.

Странные люди!

3

К нам положили еще одного.

Привезли со станции на двух велосипедах, по лестнице внесли на носилках. Койку поставили рядом с моей у передней стены, и я с любопытством гляжу в его сторону. У него черная непромытая борода, красные воспаленные глаза. Промеж бровей упрямая складка. Положили на койку, лежит, не разговаривает. В полдень потревожили на перевязку, опять оставили одного. Вечером он поднялся, мотнул головой.

— Лежите?

— Да, вот с товарищем.

— У меня болит голова.

— Отчего?

Не ответил.

Ночью снова поднялся, начал смеяться. Черная борода вздрагивала при каждом движении.

Тихо было кругом. Слышались шаги в коридоре, кто-то тревожно звонил колокольчиком в соседней палате. Маленькая электрическая лампочка под бумажным колпаком освещала только середину палаты. По углам в полумраке жались лохматые тени. С улицы в окна заглядывала сырая весенняя муть.

Я спросил:

— Над чем вы смеетесь? Разве видите смешное?

— Я много вижу, у меня шесть глаз. У вас только два, а у меня шесть. Каждый глаз смотрит в свою сторону, каждый глаз видит свое...

Прищурился.

— Голова болит.

— Это с дороги. Пройдет.

Он не отвечает, ложится. Я тоже ложусь. Через минуту чувствую на плече у себя тяжелую руку. Возле стоит он, наклонившись до самой подушки. Я пробую вскочить, он останавливает:

— Лежите. Чу!

Мысли мои обостряются, сердце колотится учащенно. Вижу вытянутый палец, лежу точно маленький.

— Знаете, кто это стонет?

— Кто?

— Я знаю... Народ, земля убитая плачет...

— Вы больны?

— А вы здоровы?

Глаза наши встречаются.

Строго повышенным голосом он говорит мне:

— Где у вас сердце?

Поздно ночью заходит сестра. Я выхожу за ней в коридор, осторожно шепчу: „Уберите от меня этого человека: он болен".

Сестра дотрагивается до моей головы, и я возвращаюсь в палату смущенный, не смея взглянуть на прибывшего. Лежит он на постели лицом ко мне, глаза наблюдают за мной... Пробую отвернуться—глаза смотрят с другой стороны. Шипит на меня по-гусиному:

— Не радуйся. Радоваться нечему...

Ноги мои подгибаются.

С трудом добираюсь до койки, падаю головой на подушки, плачу как маленький.

Да, я хромой.

Но я плачу не оттого, что я хромой. Это очень маленькая жертва — потерять половину ноги: во мне умирает радость. Я уже отыграл свой день, отпраздновал свой праздник и валяюсь вот здесь в большом незнакомом дому, никому не нужный, среди одноногих, слепых, поврежденных, разрывающих сердце тоской и обидой. А жизнь, как карусель, вертится, выставив дешевую позолоту, за которой скрываются слезы, позор, нищета и страдание.

Около меня собираются сестры, вливают в рот валериановых капель.

4

Утром просыпаюсь поздно.

Вижу двух служителей в грязных халатах с засученными рукавами. Они возятся около соседа с перевязанными ногами, обертывают его простынею, кладут на носилки.

Отыскиваю глазами второго соседа.

Его нет.

Остаюсь один среди двух опустевших коек. Смотрю на белые высокие стены, на неубранные койки. Свесились два одеяла. Мысленно провожаю умершего, облегченно вздыхаю.

Я здоров.

В ПЛЕНУ

1

Емельян ездил в город, привез оттуда австрийца в работники. По-русски он говорил плохо, больше кивал головой... Посадил его Емельян на телегу, оглянулся назад, сказал:

— Ну, поехали.

И Артур оглянулся назад.

Позади оставался город, наполненный шумом, впереди расстилались поля, наполненные тишиной... Не понял Артур, что сказал хозяин, но своей дороги не было, ехал, куда повезут.

Вез Емельян в Алдаровку.

Дорогой говорил:

— Ты не бойся, у нас хорошо. По праздникам я не работаю

Трудно было Артуру понять Емельянову речь. Молчал. А когда Емельян отворачивался в сторону, Артур рассматривал Емельяна. В городе не успел приглядеться к нему, думал о другом

Емельян — старик.

Лицо утонуло в бороде. Глаза спрятаны в густо нависших бровях. Губ совсем не видать из-под усов.

Жары не чувствует.

На нем овчинная шапка с подпотевшей тульей, старый на вате пиджак, подпоясанный ремешком. На ногах валенки. Словно сыч выглядывает из дупла, зорко глядит по сторонам.

Артур думает разное.

Емельян, поглядывая на Артура, тоже думает разное. Кто его знает? Человек он не русский, чужой, ненадежный. Дорога степная, безлюдная. А в кармане у Емельяна деньги.

Ехали под вечер.

Лошади надоело тащить их вприпрыжку, останавливалась.

Емельян сердился, хлестал ее по боку. Кнут то и дело кружился над головой у Артура, Артур опасливо жался в сторонку. Емельяну казалось, что доверяться Артуру нельзя, в душе вырастало тревожное чувство. Откуда оно шло — не знал, но в каждой мочевинке, под каждым бугорком плотнее прижимался к сиденью, крепче дергал вожжами, гнал непослушную лошадь.

Осмелел Емельян около Алдаровки.

Когда выглянули знакомые трубы на старых соломенных крышах, страх, который попусту тащил несколько верст, отошел и растаял.

Придерживая лошадь, сказал:

— Ну, вот и приехали. Видишь деревню? Наша это, Алдаровка. А там полевее — Кирьяновка. Густо сидим, как грибы.

Понял Артур: дорога кончается, дальше этого не уедешь. Вытащил из-под ног засохшую соломинку, начал разжевывать, выплевывая по кусочку.

Емельян подумал:

— Есть хочет.

Опять сказал:

— Терпи немножко. Приедем домой, ужинать будем.

2

У ворот стояли бабы с ребятишками и два старика, чем-то похожих на Емельяна. Один в шерстяных полосатых чулках сидел на завалинке, выгнув колени. Другой в липовых калошах стоял напротив. Из раскрытого окна выглядывала старушечья голова в черном платочке. В соседней избе плакал ребенок, улицей пылили овцы. Хлопал пастушечий кнут.

Смеркалось.

Емельян слез первым.

Дорогой пересидел ноги и теперь слегка прихрамывал. Артур задержался на телеге. Бабы с ребятишками подошли вплотную, обступили полукругом. Окруженный, он сидел как коробейник, торгующий кольцами.

Старики поглядывали издали.

Артур интересовал их со стороны крепости, словно новокупка, приведенная с базара; каждый старался назначить ей цену.

— Ничего, здоровый будто.

С улицы заторопились в избу.

Изба большая, с тремя окнами на дорогу. От набившихся баб с мужиками казалась маленькой, тесной, без воздуха. Лампа, спущенная над столом, горела тускло. Пахло керосинной копотью. Под потолком кружились потревоженные мухи. Из чулана выглянули и снова скрылись большие недоумевающие глаза, налитые жалостью. Справа и слева глядели другие глаза — светлые, темные, недоверяющие. В окно с улицы глянула чья-то голова с распустившимися волосами. И оттого, что не было видно туловища, спрятанного за стеной, большая растрепанная голова, ищущая Артура, казалась похожей на фокус: покажется — скроется. Скроется—опять покажется.

Иван Прокофьич в новом казинетовом пиджаке нараспашку сел рядом с Артуром на лавку. Подмигнул, похлопал его по плечу:

— Что, брат, попался?

Понял Артур, что с ним разговаривают; улыбаясь, кивнул головой.

Иван Прокофьич кричал под самое ухо, словно глухому:

— У нас хорошо, лучше, чем у вас!

Емельян сказал Ивану Прокофьичу:

— Больно-то не приставай, пускай оглядится.

Пришли еще мужики, молча уставились на Артура острыми ощупывающими глазами. Пробовал Артур отвернуться, спрятаться от пристальных глаз, но спрятаться было негде. Слева сидел Максим Иваныч, выставив ноги в полосатых чулках, справа — Иван Прокофьич в казинетовом пиджаке нараспашку, а напротив—Евсей, перегородивший дорогу. Последней пришла бабка Ирина, проводившая трех сыновей на войну. Протискалась поближе к Артуру старуха, заплакала.

Не знал Артур, что бабка похожа на могилу, где лежит не одно схороненное горе, и ему показалось, что плачет старуха над ним.

Сердце заныло.

Не умея говорить по-русски, начал говорить по-своему, чтобы показать людям свое, человеческое.

Люди не поняли, изба наполнилась смехом.

И Артур сначала не понял. А когда понял — смеются над ним, над ломаным его языком, даже улыбаться и кивать головой перестал. Иван Прокофьич похлопывал по плечу, спрашивал, сколько у них в Австрии земли на человека; Артур не отвечал.

3

Легли поздно.

Долго думали, где положить Артура; решили положить на полу. Сам Емельян расположился на печке, чтобы удобнее было наблюдать за работником сверху. Ночью опять он сделался робким. Давешний страх, сброшенный на дороге, снова подошел вплотную.

Старшая сноха Марья с двумя ребятишками приткнулась в углу на кровати. Младшая — Евдоха—ушла в кладовушку. Емельян приказал ложиться в избе, она не послушалась. Емельян рассердился, расстроился. Ему хотелось немногого. Пусть бы чужой человек увидел, что старик в дому сила, что ему повинуются со слова. Но этого не было, и это печалило. Обиженный, он долго пыхтел, возился, а когда засыпал, видел Артура, тихонько отворяющего дверь; вскакивая, просыпался.

Ночь была лунная, тихая.

Месяц подошел под самые окна, осторожно провел от передней стены светлую кривую дорожку. За стеной на дворе отдувалась корова, кашляли овцы.

В полусне разговаривали гуси. В улочке сонно гавкала собачонка, разрубая тишину. Дальше, на другом конце, доигрывала гармонь, роняя последние крики.

Артур не спал; подложив под голову согнутые руки, беспокойно сжимался в комок. Минутами садился, закрывая лицо, медленно качал головой. Прислушивался, щурил глаза на светлую кривую дорожку, положенную месяцем, неслышно уходил по ней мысленно.

Емельян следил сверху.

Когда Артур вышел из избы, вслед за ним вышел и Емельян.

Артур остановился под сараем, Емельян прижался в сенях. Ослаб он, внутренно раздвоился. Казалось ему, что под сараем в темноте Артур совершает ужасное дело, и это ужасное идет на него, Емельяна. Подойдет, раздавит.

Артур неуверенно тронул калитку. В голове у Емельяна помутилось. Наддарил кто-то в темноте его, вытолкнул из сеней. Выскочил на двор, судорожно вцепился Артуру в плечо, жарко дохнул в лицо.

— Куда?

Голос был резкий, не свой, оба испугались. Остановился Артур в полосе лунного света, заглянул Емельяну в лицо. Потом показал пальцем на грудь себе. Это значило, что у него болит сердце, что ему припомнилась родина и он немножко расстроился.

Емельян думал свое и в охватившей тревоге не разглядел тоскующих глаз.

Уснул Артур не надолго, спал не крепко.

Всю ночь около него кружил какой-то мужик в новом казинетовом пиджаке нараспашку, хлопал по плечу.

— Что, брат, попался?

4

За завтраком Артур увидел всю семью.

Его посадили рядом с хозяином в переднем углу. Напротив сидела старшая сноха Марья. Ела молча, взглянула на Артура только раз.

Младшая Евдоха, краснощекая молодайка, держалась по-девичьи. Разлука с мужем мало отразилась на ней. Словно галка, повертывалась из стороны в сторону. В круглых косивших глазах наигрывал девичий задор.

Ел Артур неуверенно: торопился, отставал.

Емельян угощал по-праздничному:

— Ешь потолще, едой не разоришь.

Подкладывал хлеба.

— Много съешь—много сделаешь.

Сам он сидел по-хозяйски, распустив подмоченную бороду. Ложка у него большая, вроде половника, с двумя вырезанными крестиками на облупившемся черенке. В перерывы между едой постукивал ею по столу, вместо колокольчика, замахивался на Марьиного мальчишку, удивленно поглядывающего на Артура.

К столу подавала старуха, Емельянова жена. Она была моложе „самого“, но видом постарше, послабее. Ходила согнувшись, голову держала опущенной, носила на старых подсохших губах теплую материнскую улыбку.

После завтрака вышли на двор.

Одну лошадь обротал Емельян, другую—Артур.

Когда впрягли лошадей в телеги, Емельян вынес лопаты, показал Артуру на кучу навоза в углу под сараем.

— Навоз возить будем, дело не хитрое, скоро поймешь.

Вышла Евдоха с вилами, встала напротив. Работала она по-мужичьи, отрывая вилами тяжелые пласты, смеялась над работником.

Навоз возили целый день.

Артур утомился, а вечером отказался от ужина.

Ужинали при огне. В избе было жарко. Все время плакал Марьин ребенок. По стенам ползали тараканы. Щи были горячие, над столом от них стояло маленькое облачко, закрывающее Емельяна в переднем углу. Слышно было только, как стучал он мослом по столу, шумно высасывая мозги, а глаз и лица не было видно.

Артур сидел в стороне, около печки. Потом вышел на двор, присел на крылечко.

— Я умру здесь.

Сказал тихонько, испугался.

А голос внутри его ответил:

— Терпи. Вытерпишь, увидишь родину...

5

По утрам вставали рано.

Первым просыпался Емельян. Наскоро ополаскивал лицо, приглаживал бороду. Молился наспех, по привычке, цельных

молитв не было. Были отдельные клочья, обрывки, и обрывки эти путались в голове беспорядочно. Забываясь, Емельян оборачивался назад, глядел под кровать, где валялось старье, заслоняющее иконы. Не кончив молитвы, скакал под сарай. Оттуда перебрасывался на огород, с огорода — на улицу, кружился около лошадей и готов был схватиться сразу за несколько дел.

Артур спал на полу.

По утрам Емельян тянул его за ногу, осторожно подталкивая в бок. Артур просыпался как заяц, почуявший выстрел. Одевался быстро. Пока хозяин стоял на молитве, раскуривал трубку.

Марья просыпалась сама.

По ночам ее мучил ребенок, и лицо у нее от бессонницы было зеленое, мятое. На постели по утрам она не стеснялась, сидела с раскрытой обсосанной грудью, с оголенными икрами ног.

Евдоха спала в кладовушке.

С вечера ложилась поздно, где-то бродила, чего-то искала, утром вставала насильно. Ее будил Емельян, постукивая кулаком в запертую дверь. Просыпалась она недовольная, раздраженная, в круглых косивших глазах светилась досада, в коротких словах, которые бросала Емельяну, чувствовался вызов.

Старуха шла серединой.

Характер у нее мягкий, неустойчивый, ссориться не любила. Когда ссорилась Евдоха с Марьиными ребятишками, как чужая в дому, отходила в сторону.

Артур стоял чужаком в этой жизни, словно дерево, пересаженное в чужой палисадник. Пробовал говорить — не понимали. Пробовал выбросить из себя давившую тяжесть — смеялись. Не сумел подойти к людям вплотную, стал замкнутым, одиноким. По вечерам, когда ложились другие, задерживался на дворе, выходил на огород, с огорода — на речку, бесцельно кружился по берегу.

В маленькой речушке расстроенным хором гудели лягушки, в улице подвывали собаки, плакали дети в месячной потревоженной тишине. Видел Артур темное, тупое, не говорящее лицо жизни, и это лицо убивало тоской. Смотрело оно на него и рано утром, когда просыпался на работу, и поздно ночью, когда засыпал на полу. Даже в поле, в маленьком

тихом просторе, изрезанном косыми проселками, стояло перед ним тупое лицо.

Емельян беспокоился.

Не видя Артура в избе, осторожно выходил под сарай, по-кошачьи заглядывал в углы, пересчитывал лошадей в полутьме, прислушивался. Со двора пробирался на огород, спускался на речку, долго стоял на берегу. Страх наваливался, как камень, пущенный сверху. Придавленный страхом, он гнулся, слабел, не было силы двинуться с места. Тревожно окрикивал:

— Артур! Пан!

Артура раздражали подкарауливающие шаги. Вспыхивало враждебное к маленькому мохнатому старику, от возбуждения вздрагивали руки. Хотелось заупрямиться, не послушаться, зло посмеяться над силой, ведущей к подчинению. Что из этого выйдет? От сознания, что выйдет большое, непоправимое, глаза светились ярче, тонкие губы сжимались плотнее.

Это были минуты ненужного гнева.

После не верилось: были они или не были.

Успокоенный Емельян говорил:

— Чем тебе плохо? Работаем в меру, пьем-едим досыта. Товарищам хуже.

Артур видел другое лицо, слышал другой голос, в котором дрожали теплые растроганные ноты. Прикладывая руку к сердцу, кивал головой.

Хотелось ему подойти к людям проще, по-человечески, разгородить фальшивую ненужную перегородку, вынуть из сердца свое, человеческое, — что-то удерживало, мешало. Прислушиваясь к другим, бережно хранил отдельные звуки чужих разговоров, старался усвоить язык, но язык был не богатый, и тот немногий обиход, который заучил Артур, не в состоянии был выразить того, что чувствовал.

6

Бабы в субботу вытопили баню.

Емельян три раза залезал на полок, сердито хлестал себя веником. Мыться с ним мог не каждый. В бане стоял

невыносимый жар, трудно было дышать даже на полу. Артур с удивлением поглядывал на гогочущего вверху Емельяна. Сам он сидел в уголку около кадушки.

Емельян и его затащил на полок, подталкивая снизу.

— Ничего, ничего, давно не парился.

Артур согласился, но веником не умел работать. Парил сам Емельян. Артур порывался соскочить на пол. Казалось ему, что он не вытерпит, задохнется в обжигающей духоте, но прыгающий веник в руке у Емельяна и сам Емельян, возбужденно танцующий на приступке, заставляли лежать до конца.

Только уж после понял Артур, что с ним проделывали это мученье к лучшему. Вшивое пропаренное тело почувствовало себя легко и свободно. Долго отыскивал грязное немытое белье в передбаннике,—белья грязного не было. На том месте, где было положено, лежало другое: новые полосатые штаны и ситцевая рубаха с вышитым воротом.

Тайная забота баб растрогала.

Домой вернулся не похожим на прежнего,—немного смешной и забавный в новом наряде. Вместо незнакомого пугающего австрийца стоял теперь свой, одинаковый, в одинаковых штанах и рубахе. Было легче смотреть на такого, чувствовалась радость и в том, что все это вышло так просто, легко и оадостно.

Дома на Артура надели еще пиджак, оставшийся от Марьиного мужа — солдата, старую фуражку с разорванным козырьком, на ноги — сапоги. Заставили пройти по избе.

Артур прошел.

Оттого ли, что было забавно смотреть на него, сделавшегося вдруг непохожим на прежнего, или оттого, что плотно сидела поношенная фуражка с разорванным козырьком,— на душе у всех появилось хорошее, теплое чувство, брызжущее смехом. Темные лица разгладились. Позывало на шутку. Даже Марья, не поднимающая глаз, улыбнулась. Старуха гремела трубой, налаживала самовар. Добрые старушечьи глаза, выглядывающие из чулана, казались еще добрее.

Евдоха дурачилась, дергала Артура за рукава.

— Хороший какой!

Емельян покрикивал на Евдоху:

— Брось, брось!

Но все это было между прочим, старик не сердился.

Вечер прошел в разговорах.

Кто-то новый, умиротворяющий вошел в Емельянову избу, объединил, успокоил людей, идущих по разным дорогам. За чаем Артур сидел рядом с хозяином. Глядя на них, казалось, что два мужика — как два дерева, выросших в разное время. Они уже не были чужими, пугающими, между ними чувствовалась внутренняя близость.

Емельян подкладывал хлеба.

— Закусывай, не стесняйся.

Старуха сварила яиц по два каждому. Это тоже указывало, что Артур свой человек, имеющий право на равную долю.

Вылез Емельян из-за стола добрым, снисходительным. Следом за ним вылез и Артур. Заглянул Иван Прокофьич в казинетовом пиджаке, смастерил себе „ножку“. Артур закурил трубку. Первый дымок выпустили молча, за вторым потекли разговоры.

Говорили про войну, про ярмарку, про цены на хлеб.

Артур сидел взволнованный.

Понимал он не все, что говорили другие, но чувствовал, что его не сторонятся, смотрят как на своего, близкого человека, страдающего одним горем, и его печаль есть печаль и этих мужиков.

Легли не по-летнему поздно.

Что-то мешало уснуть, что-то тревожило невысказанное.

Пропели первые петухи после полуночи.

Артур тихонько вышел из избы, постоял у сеней. Чуткая переливающаяся тишина чуть слышно звенела колокольчиком, разговаривала слабыми шорохами. Глубокое звездное небо глядело спокойно и кротко. Усталая, измученная душа наливалась такой же тишиной и кротостью.

Стоя около сеней со скрещенными на груди руками, Артур в первый раз пересмотрел всю свою жизнь от начала до конца, мысленно прошел короткий утомительный путь, приведший в маленькую степную деревню.

Ах, война!

Было обидно и грустно.

А когда в избе заплакал Марьин ребенок — нервы не выдержали. Представил Артур своего ребенка, жену, комнату, в которой остались два человека, дожидающиеся писем, — из глаз выпала первая за все время слезинка.

Долго не спал и Емельян в эту ночь.

Тоже пересмотрел жизнь свою от начала до конца.

Дошел до Артура, подумал:

— Жалеть надо. Мы пожалеем, и она пожалеет нас.

Все еще боялся Емельян, все еще не доверял, ожидая Артуровых проделок, хотел покорить жалостью. Злое обособленное чувство, что Артур чужой человек, которого не стоит жалеть, заменялось другим. В минуты, когда не было подозренья, обжигающего мозг, говорил Артуру, заглядывая в лицо:

— Нам с тобой делить нечего. Будем жить дружнее, лучше будет. Ты хорошо сделаешь, и я хорошо сделаю. Чего нам делить?

Артур кивал головой.

7

Околел гнедой мерин и смертью своей поставил Емельяна втупик.

Лошадь была здоровая, крепкая, не жаловалась, не валялась, пала, как дерево, враз. С вечера Емельян разговаривал с ней на дворе, утром нашел мертвой. Лежала она около плетня, вытянув ноги, окоченевшая, с оскаленной мордой.

Емельян не поверил, испуганно пнул ее в бок.

Лошадь не двинулась.

Забежал с другой стороны Емельян, приподнял голову.

Неподвижная голова была тяжелая.

Емельян тоже сделался страшно тяжелым, почувствовал, что под ногами у него не земля, а жидкое тесто, в которое лезет, точно в трясину.

Прижался к плетню.

Из сеней вышел Артур, неся с собой доброе чувство. Не понял, в чем дело. Увидя лошадиную голову с оскаленной мордой и голову хозяина, упавшую на грудь,— нахмурился.

Бодрое хорошее чувство сменилось щемящим. Взглянул на хозяина.

Хозяина не было.

У плетня стоял маленький, мохнатый старик в длинной рубахе, безмолвно смотрел себе под ноги.

Артур подошел поближе, хотел что-то сказать, пожалеть человека в несчастье. Емельян приподнял голову. В маленьких незрячих глазах столько было злого, выпирающего изнутри, что Артур даже попятился, чуточку покраснел. Он стоял по одну сторону, Емельян — по другую. Между ними лежала околевшая лошадь, и, отделенные ею, они стояли, как на двух берегах, идущие в разные стороны.

Емельян не мог говорить, косил красным вертящимся глазом то на Артура, стоявшего справа, то на околевшую лошадь с откинутой в сторону левой ногой.

Первой из женщин выбежала старуха в черном платочке. Вслед за ней — Марья в расстегнутой кофте. Марьин мальчишка в больших сапогах и не чувствовавшая горя Евдоха в подоткнутой юбке. Встала она не там, где встали другие, а несколько на отлете. На околевшую лошадь глядела безучастно.

Увидел Емельян эту отчужденность и понял, что Евдоха чужая в дому. Озлобленные, сухо горевшие глаза остановились на ней. Евдоха встретилась спокойно с ними, небрежно, и мучила этой небрежностью до тех пор, пока Емельян не начал ругаться.

Тут Евдоха сказала ему:

— Не ругайся, я ведь не дочка тебе!

Знал Емельян, что Евдоха не дочка ему, но думал о другом.

Возбуждение ослепило его. Не было уже ни лошади, ни жены, ни Артура, ни всей этой жизни, хохочущей тысячью ртов. Было одно лицо, выглядывающее из тумана, и оно хохотало за всех. То была Евдоха, бросившая последний камень. Стояла она все там же, где встала вначале, но Емельяну казалось, что она далеко-далеко от него. Он подвигался с трудом к ней, тяжело ворочая грудью, а когда подошел и хотел что-то сделать, чтобы рассеять сизый туман, перед

ним стояла не Евдоха, а плачущая старуха в черном платочке, держала его за руку. Другую, сжатую в кулак, держала Марья.

Емельян ослаб.

Две лошади, потерявшие третью, стояли поодаль, около ворот толпились овцы, коровы.

К завтраку Евдоха не вернулась. Место ее за столом оставалось пустым, напоминало об утреннем. Притихший Артур в ситцевой рубашке сидел неподвижно.

Подаренная рубаха давила камнем.

Емельян не угощал, не подкладывал хлеба, как раньше, не стучал и мослом по столу. А когда мальчишка Марьин выронил ложку, Емельян ударил его по голове. Мальчишка заплакал. Марья смолчала, как будто не видела, но от еды отказалась, ушла на кровать.

Глаза у старухи стали темнее, печальнее. Губы втянулись.

Вылез и Артур.

Емельян остался один за столом. Тусклые глаза опять загорелись враждебно. Брякнул кулаком по столу.

— Что вы хотите?

8

Жить стало трудно.

В глазах у Емельяна неизменно горел сухой огонек, нащупывающий в темноте. Он почти не разговаривал с Артуром, как будто не замечал человека, шагающего рядом. Стоило Артуру где-нибудь уединиться, на минуточку спрятаться от преследующих глаз, Емельян тревожно бегал по углам.

Спал мало.

Сон был некрепкий. В расстроенной голове путались расстроенные мысли. Вскакивал, отыскивал глазами Артура, по-кошачьи пробирался на двор.

Артур не сердился на старика.

Он перегорел, утомился, и не было в нем ни горечи, ни раздражения. Темная, незрячая жизнь, в которой кружился чужим и непонятным, не давала ни свету, ни радости. Вместе с ласковой жалостью бабьих глаз видел и острую щетину

в напуганных глазах Емельяна. Умирал он медленно, равнодушно. Лишь редко-редко вспыхивало протестующее чувство, но вспыхивало не надолго, как искры, отлетевшие от костра, возбуждение было короткое. А когда увидел на ладони у себя капельку крови, зловеще окрасившую желтую, нездоровую харкотину, сделался особенно тихим, печально сказал:

— Ну, вот и конец.

Написал письмо.

Первое письмо, как поселился в Алдаровке. Готовился к нему долго, долго вынашивал запрятанные мысли. Пока готовился, думал высказать много, а на бумаге вышло несколько строк. Прочел их: не поверилось, что сам написал. Не хотелось жаловаться, не хотелось и роптать, чтобы уйти из этой жизни спокойно, но в каждой строчке слышались обида и слезы, тоска и отчаяние...

Поглядел на написанное, что-то припомнил, нерешительно разорвал. Разорванные лоскутки выбросил на ветер, и они, подхваченные ветром, разлетелись как падающие сверху снежинки.

9

В пятницу выехали в поле.

Работали молча.

Артур ходил за плугом, Емельян по-хозяйски стоял на межнике. Забирался под телегу, чтобы вздремнуть от безделья, но тут же высовывал голову, украдкой смотрел на Артура, шагающего за лошадьми.

Стояла духота.

Безоблачное небо казалось высоким, прозрачным; примолкшее поле — широким, пустынным.

В полдень лошади утомились, Емельян приказал отпрягать на отдых. Закусывали в одно время: лошади в телеге, хозяин с работником под телегой. Емельян с ножом в руке резал хлеб, вынутый из кошеля. Один кусок положил перед собой, другой — перед Артуром.

Артур не дотрагивался до хлеба. Выпил квасу, пахнувшего тряпицей, отодвинулся в сторону.

Емельян покосился. Ел один, усиленно ворочая щеками, чувствовал себя обиженным. Когда Артур вылез из-под телеги, Емельян вспыхнул. В сердце закурилось нехорошее чувство, делающее человека сухим и колючим.

Артур подошел к лошадям, одну погладил по спине.

Емельян из-под телеги наблюдал. Тревожило неясное. Рядом лежала Артурова кепка с полинявшим значком повыше козырька. Взял в руки ее, будто никогда не видел, пощупал, повертел, даже обнюхал и брезгливо, со злостью отшвырнул в сторону. Вспомнились дети, — два сына, ушедшие на войну. Представилась самая война — огромное поле, уставленное пушками с разинутыми ртами. Представились австрийские солдаты, расстреливающие русских солдат,—сердце ударило вперебой. Злое, враждебное чувство разгорелось сильнее. Глаза под нависшими бровями сделались меньше. Были позывы на кого-нибудь налететь, сделать кому-нибудь вызов. Но кого вызывать кроме Артура? В нем сошлась вся путаница расстроенной жизни. Он на каждом шагу причинял и боль своей неразгаданностью. Только к нему, чередуясь, неизменно стекались Емельяновы мысли, только он, оторванный от своих, стоял перед глазами, вызывая то жалость, то злобу...

Артур схоронился в полыннике на чужой десятине. Осторожно вытащил маленькую тростяную дудочку, которую смастерил в праздничный отдых, несколько минут просидел молча, со слабой ребячьей улыбкой. Тоненькая, незатейливая дудка стыдила своей простотой. Боялся Артур, что слабый самодельный инструмент не сумеет передать невысказанное словами. Вылетели первые звуки, слабо поднялись вверх. Артур в волнении прижал дудку к груди. Невольник и чужестранец, прикованный силой к чужим далеким полям, сидел он, словно заяц, укрытый полынником, позабыл про хозяина. Увлеченный игрою, изливал свою скорбь. Тростяная дудочка, в которую вложил свое сердце, пела так грустно, так жалобно. Столько было простоты и горького человеческого чувства, близкого другому человеческому сердцу! Заслышал Емельян невидимую дудку, вздохнул. Жалобное волнующее пение казалось не пением, не игрой, не забавой, а душевной покоряющей болью... В голове рождались другие мысли, в сердце—другие

чувства. Просились свои скорби, свои жалобы на человеческую несправедливость, разорвавшую жизнь пополам; хотелось добавить свое, выраженное грубым, неповинующимся языком.

Артур сидел, низко опустив голову.

Сзади за спиной стоял Емельян, не нарушая игры.

Уже не было страшно пугающего австрийца, отнимающего сон по ночам. Сидел одинокий человек, измученный жизнью.

Увидел Артур хозяина — дудка смолкла.

Емельян тихонько сказал:

— Вот ты какой!

Артур показал на грудь себе.

— Болит.

Емельян покачал головой.

— Плохо, брат, я вижу. Я тоже никуда не гожусь.

Начал рассказывать про сыновей, ушедших на войну, про старую разлаженную жизнь. Маленькие, затосковавшие глаза обволоклись слезами.

— В больницу нам с тобой надо, к доктору.

Оба молчали.

НА ВОКЗАЛЕ

Еще не доезжая до вокзала, на близвокзальных спусках, уже начинаешь чувствовать, что попадаешь в полосу давки, тесноты, окриков, ругани и беспрерывного движения взад и вперед. Бойко скачут извозчики, подтаскивая пассажиров, преимущественно из военных, медленно двигаются обозы, нагруженные различным старьем... Скользя и покачиваясь идут пешеходы. Кто—с сумочкой на плечах, кто—с чайником, а некоторые—с парой лаптей про запас.

Кажется, что люди идут далеко-далеко, в бесконечный путь под тяжелым непосильным крестом. Согнутые стариковские спины, серые недовольные лица, поднятые заиндевевшие воротники у шинелишек. Ни смеха, ни шуток. Только изредка вырвется чей-нибудь крик, срываясь с прозябших неповинующихся губ, злобно блеснут глаза из-под нависших бровей, а через минуту все это тонет, теряется, гаснет в пестрой перепутанной волне голосов.

Из-под горы, от вокзала, тянутся обозы: „частные" и военные. Везут доски, кули с овсом, хомуты, упряжь, солдатскую походную кухню, артиллерийские ящики и целые розвальни подмороженных караваев. На одних из санишек поместилась „командирская" пролетка с поломанным задом, и ее длинные оглобли кажутся длинными протянутыми руками, зовущими о помощи... По бокам шагают солдаты с небрежно перекинутыми винтовками. Равнодушно и не торопясь, выгнув спины, медленно плетутся кавалерийские лошади с болтающимися стременами от седел. По бокам у них висят кожаные дорожные сумки и небольшие перевязанные пучки сена.

Неохотно гарцует офицер, поворачиваясь справа налево.

Холодно.

В сухом, безветренном воздухе неподвижно стоит туман, перемешанный с дымом. Зябнут руки, ноги, невольно вздрагивает все тело.

Спуск крутой, скользкий. Подниматься по нему тяжело, и обозные лошади, везущие воинский груз, останавливаясь, мнутся, трясут головами и по-смешному начинают прыгать на одном месте, готовые выскочить из хомутов. А намучившись, падают на колени, не в силах вытянуть воз...

Сверху, навстречу им, неудержимо катятся чьи-то санишки с двумя упакованными ящиками. На ящике́ сидит сестра милосердия в белой косынке, выставив ноги, обутые в башмачки... Ей холодно. Она сидит с плотно-поджатыми губами, сдерживается, крепится, даже пробует кому-то улыбнуться и в своей растерянной беспомощности, повязанная белой весенней косынкой, кажется в этой грубой перепутанной толчее безропотной мученицей, приложившейся к чаше великих страданий...

Санишки, на которых она сидит, нечаянно сцепляются с другими—и дорога загораживается. Впереди у кого-то вываливается железная печка: раскатываясь опрокидывается воз. Кто-то кому-то грозит кнутовищем и выплевывает бессильную озлобленную ругань...

Поскользнувшись, падает солдат-пешеход, роняя завернутый кусок колбасы, и несколько секунд сидит на дороге, точно ушибленный, оглядываясь по сторонам...

Как будто бы очень смешно, но никто не смеется.

В городе слышится благовест, разливая унылый, тоскующий звон, а на железнодорожных путях свищут, пыхтят паровозы, торопливо гремят буфера. Медленно и деловито растекается дымок, спускаясь пологом над железнодорожными мастерскими. Группа чернорабочих разворачивает каменный уголь и грузит его на подводы. Тут же около них работают женщины с синими перепачканными лицами. На губах и под глазами—угольная пыль... Из-под коротких растрепанных юбок выглядывают красные „гусиные“ ноги, привыкшие к холоду.

Нищета...

Это преимущественно беженки, старые и молодые, потерявшие родину...

На путях стоят приготовленные эшелоны с паровозами и без паровозов. Но куда они едут—взад или вперед,—никто хорошенько не знает. Оттого ли, что холодно, или оттого, что боязно—не остаться бы, так как никакого расписания для отхода поездов не существует,—отъезжающих не видать. А поэтому и около вагонов нет ни давки, ни беспорядочной беготни, ни перепуганных выкриков, ни умоляющих протянутых рук, увешанных чемоданами с мешками...

Тихо, просторно...

Только русские пленные сибиряки беспрерывно бегают из конца в конец по эшелонам, отыскивая местечка себе, но „местечка“ для них не приготовлено, и они, потерянные и брошенные среди этого холода, мечутся в какой-то безнадежности, словно застигнутые водопольем...

Некоторые из них, прыгая с ноги на ногу, жалуются французским солдатам в крытых тулупах с поднятыми воротниками и „Христом-богом“ просят их посадить к себе в эшелон.

Но французам не приказано сажать. Если же посадить одного, полезут десятки, и один из французов, хорошо разговаривающий по-русски, отсылает просителей к коменданту.

Снова, согнувшись, ныряют между колес под вагонами, рваные, как будто никому не нужные фигуры бывших „чудо-богатырей“, сражавшихся под Карпатами.

Иногда вынырнет какая-нибудь баба с огромной закутанной головой, навьюченная огромными деревенскими мешками. Постоит, посмотрит на закрытые двери теплушек, но открыть, постучать не осмелится и, безнадежно озираясь вокруг, потащится дальше—неизвестно куда и зачем.

Изредка появится городская корзинка с постельным узлом, и молодое румяное лицо запыхавшейся дамочки с светлыми взволнованными глазами, ищущими чьей-то поддержки... С ними встречаются прищуренные веселые глаза щеголя-чеха, готового на все услуги, и, улыбаясь, уводят за собой...

Сиротой и горемыкой чувствует себя только какой-то попец из далекого вятского прихода, вырванный из родного очага и втиснутый в странный заколдованный круг, из которого нет выхода... Он стоит между вагонами обиженный,

недоумевающий, не зная, куда держать путь, и в глазах у него, закрытых белыми густыми бровями, светит невысказанная тоска и отчаяние.

Вместо сапог на ногах неуклюжие мордовские лапти с широкими разбитыми носами, поверх длинного полукафтанья надет тулупишко. На голове объемистый малахай с распущенными крыльями...

Он очень смешон в этом наряде. Глядя на него, хочется подшутить, посмеяться и вместе с тем пожалеть простой человеческой жалостью...

Поглядывая на тишину и безлюдье около вагонов, в первую минуту кажется, что все эти теплушки, все эти „телячьи“ вагоны с закупоренными дверями набиты не людьми, не народом, а каким-то безжизненным поломанным грузом... И только прислушавшись, начинаешь различать сдержанные голоса мужчин, резкий раскатистый смех „неунывающих“, жалобы, охи, девичьи взвизги и тоненький плач ребятишек...

Там, в теплушках, все свалено в одну кучу: и смех и слезы, и горе и радость...

Люди, видимо, привыкли к страданию так же, как можно привыкнуть к холоду, и, как куры из огромной потасканной кучи, стараются найти в своей поломанной, отравленной жизни крупинки веселья и молодой согревающей радости.

Все равно ведь. Унывать будешь—жить надо, и унывать не будешь—жить надо... Лучше не унывать... И молодежь не унывает.

Выглядывая на минуточку из раскрытых дверей, она кричит в сторону женщин, бегающих с узелками в руках:

— Эй, тетенька! идите к нам... Мы подвезем... Садитесь.

И тут же рядом—злые усатые лица с мерзлыми пушистыми усами... Грузят лошадей, перетаскивают винтовки, носят воду, набивают теплушки дровами... Некоторые бегут с ведерками, расплескивая щи. Некоторые разыскивают товарищей... То и дело слышится французский говор, торопливо позвякивают офицерские шпоры...

В самом здании вокзала—море солдатских голов. Куда ни посмотришь, куда ни оглянешься—везде и всюду рваные картузишки, перевязанные уши, небритые подбородки... На

плечах — негреющее тряпье, на ногах, вместо обуви, — тряпки... В руках кое у кого — кусочек хлеба. Жуют, обсасывают пальцы, курят, плюются, жалуются, ворчат, бродят из дверей в двери...

Это — русские пленные, возвращающиеся из Австро-Германии... Смотреть на них с жалостью — сердце разрывается; смотреть с одним любопытством — совестно... Глядя на них, невольно вспоминается Бонапартовская армия 1812 года, бегущая в бабьих платках, голодная и обмороженная, и в голову лезут острые негодующие мысли...

Позади, за вокзалом, пленные прямо на снегу режут где-то добытый хлеб. Людно и шумно на базаре. Пахнет жженым маслом, горячими пирожками. Со всех сторон предлагают табаку, папирос, бумаги, хлеба-колбасы, но только для „денежных“. С горы и в гору плетутся пешеходы, обгоняют друг друга извозчики, подвозя живой и мертвый груз...

И если смотреть долго и пристально на этот водоворот, поглощающий в себе горе и радость человеческой жизни, то закроешь глаза и скажешь:

— Ничего не понимаю.

И как будто бы слишком много страдания и как будто бы нет ничего...

Поднимаясь в город, я встречаю на пути четверых священников-беженцев. Они идут маленькой оторвавшейся стайкой, один за другим, подпоясаны кушаками и кажутся похожими на извозчиков. Им нужно было на вокзал, чтобы поскорее погрузить и отправить накопившееся горе, и они идут широкими размашистыми шагами, не оглядываясь по сторонам. А за ними туда же неудержимой волной течет волна пешеходов, извозчиков, ящиков, сундуков, чемоданов и старых поломанных стульев.

О ТРЕХ СЫНОВЬЯХ

СКАЗКА

У царя было три сына: барин, купец и рабочий. Все они были люди работящие. Барин ногти чистил, купец собирал барыши, а рабочий хозяйство по дому правил.

Умер царь.

Остались дети одни.

Вот они и разговаривают однажды:

— Кому теперь хозяином быть?

— Мне,—говорит барин,—я ученый.

— А если мне?—говорит рабочий.—Я тоже умею кой-что.

— Ну,—говорит купец.—Какой ты хозяин? Твое дело работать...

Заспорили.

— Слушай, брательник,—говорит барин рабочему.—Погубишь ты хозяйство, разоришь по своей неопытности. Работник ты замечательный, смирный, просыпаешься рано, ложишься поздно, но одно дело работать, другое дело хозяйство вести. Подумай, брательник, не ошибись...

— Конечно, подумай!—поддакивает купец.—Дело не шуточное!

А рабочий характерный был. Уперся на своем, и не своротишь никак.

— Сам хочу быть хозяином!

Тогда купец с барином говорят ему:

— Чудак ты, брательник! Ты думаешь, жалко нам?

— Ну да, жалко.

— Ничего подобного! Мы просто боимся за тебя. Замотаешься ты по своей неопытности и все хозяйство погубишь.

— А вы не поможете мне?—улыбается рабочий.

— Не будем!—говорит барин с купцом.—Если берешься за такое дело, то и управляйся один, а мы не придем помогать.

— Совсем не придете?

— Совсем.

— Никогда не придете?

— Никогда.

— Побожитесь!

— Честное слово, не придем.

— Ладно, посмотрим,—улыбается рабочий.

Ушли братья, оставили рабочего одного. Вот купец говорит барину:

— Ты не ходи к нему на помощь. Станет звать тебя в канцелярию по ученой части—наплюй. Пусть сам валандается!

— А ты как?—спрашивает барин купца.

— Я тоже не пойду.

Сказано—сделано, решили не ходить.

Вернулся барин в комнату к себе, сел на диван, положил ногу на ногу, начал чистить ногти. Чистил-чистил, и вдруг почувствовал, что кушать хочет.

Поморщился.

Бросил ножницы, начал по комнате из угла в угол ходить.

Ходил-ходил, еще больше кушать хочется...

Лег...

Защурился.

Лежал-лежал, да как крикнет на всю комнату:

— Е-е-сть хочу!

Услышал купец, как барин кричит, подумал:

— Ишь какой веселый брательник у меня, песни поет...

А барин только пальчиками шевелит—обессилел.

Ну и купец тоже не святым духом питался. Съел он старые брюки с пиджаком, съел лаковые сапоги с золотыми кольцами—еще больше есть захотел, еще больше себя раздразнил... Начал сердиться... Сердился - сердился, пришел к барину и говорит:

— Айда к нему, сходим!

— К кому?

— Да к брательнику-то нашему. Какого он чорта не кормит! Этак умереть можно!

Рад барин, и сам давно собирался сходить, а все-таки упирается: мне, слышь, нельзя к нему итти, у меня самолюбие не позволит.

— Ладно болтать-то!—сердится купец.—У меня тоже самолюбие не хуже твоего, да ничего не поделаешь! Идем скорее, може, работенки даст...

Пошли.

А рабочий в это время обедать сел и говорит жене, очищая бороду:

— Подлей-ка щец, Матрена!

Увидал он барина с купцом под окошком, спрашивает:

— А-а, мое почтенье! Что скажете, дорогие родственнички?

Тут братья и запели в два голоса:

— Ми-илостыньку Христа-ради!

— Вот что,—сказал им рабочий.—Будет вам дурака валять, идите работать! Будете стараться—жалованье хорошее положу, не обижу, а станете бездельничать да ногти стричь—и к окошку не подпущу!

Согласились братья работать, а сам рабочий так и пошел за хозяина.

В ГЛУХИХ МЕСТАХ

1. Воля

Первые вести пришли в Чагадаевку вечером. Привез их из города Яков Полянкин, ездивший к сыну-солдату. А утром, рассыпанные по селу, они уже искрами летали из улицы в улицу и поджигали сухую солому. Яков вырос на целую голову.

Его видели издали, к нему подходили десятками, тормошили, расспрашивали, окружали кольцом, и он говорил:

— Воля, братцы... Свобода! В городе арестовали полицию... Губернатора посадили в тюрьму... С песнями ходят... Поют... Чуть не кувыркаются с радости!..

— Неужто и губернатора посадили?

— Все там!.. Никого не забыли...

— Смотри, не ослышался ли ты?..

— Ну, вот — ослышался... Мимо меня провезли под конвоем... Я-то бы не узнал, а городские показывают: „Это вот, слышь, губернатора нашего поволокли“...

Потом провезли какого-то генерала с оторванной „полетой“...

Слушать Якова было и любопытно и страшно, и по спине у трусливых пробегал холодок. Робкие отходили в сторону, чтобы не вмешиваться в кашу, но любопытство снова втирало их в толпу, и, вытянув шеи, они жадно ловили каждое новое слово...

Страшные, пугающие вести, рассыпанные Яковом, то разрывали людей друг от друга, то снова сливали в шумную волнующуюся массу и делали мужиков пьяными, танцующими странный невиданный танец. Они кружились по улицам, по переулкам, захваченные быстрым набежавшим потоком, плыли

вперед, возвращались назад и не знали, где и на каком месте остановиться... Сгруживались, снова растекались, выбитые из старой наезженной колеи, и шумели высокими приподнятыми голосами... Подшучивали над губернатором, который вдруг сделался маленьким и обиженным, не похожим на прежнего. Расспрашивали, как и на чем везли его, не ругался ли и были ли на нем эполеты.

Высокое настроение переделало Якова.

Ему казалось, что он и на самом деле кое-что заметил, и теперь рассказывал мужикам и бабам такие подробности, как будто бы рассматривал губернатора сам своими глазами, точно игрушку, посаженную в окно магазина. Даже рассказал про слезы, которые будто бы видел на лице у арестованного начальника, и эти „слезы" переходили с рук на руки, росли, увеличивались, и на другом конце Чагадаевки уже говорили, что губернатор „ревел, как ребенок", когда с него сняли „полеты".

Это была первая волна. Волна ненасытного деревенского любопытства, не знающего меры. Люди никак не могли насытиться тем, что рассказывал и придумывал Яков, и многие придумывали сами. А когда Яков рассказал и повторил все, что видел и слышал, и больше нечего было рассказывать, чтобы утолить разыгравшийся голод, накатила вторая волна— волна недоверия, робости.

Слабая запуганная мысль не могла переварить и осилить того, что случилось в городе, не могла и поверить тому, что губернатор посажен в тюрьму. Минутами все это казалось возможным, а минутами нападало раздумье... Очень уж велик был камень, висевший на шее, и Яков, наверное, понял не так, видел не то, а другое. И хотя Яков в это утро походил на колокол, беспрерывно и уверенно звонивший про волю, но одного звону было недостаточно. Нужно было увидеть, ощупать, почувствовать ее здесь, в Чагадаевке, чтобы уверовать и не сомневаться... Нужно было притти сюда еще комунибудь и сказать другим голосом, другими словами... А Яков только разжигал, будоражил. От его звону на лицах, вместе с усмешкой, светились тревога и робость. И эта робость заставляла сдерживаться, понижать голос и испытывать такое

чувство, как будто падаешь сверху в глубокую яму... Главное, мучила недоговоренность, что-то неясное и неопределенное. Яков отвечал не на все вопросы, путался, становился втупик, и верить тому, что рассказывал он, многие не решались... А поддержать его было некому и нечем. Он чувствовал бессилие сделать людей верующими и тонул, погружался на дно... Чужое сомнение на минуточку отражалось и в его потемневших глазах.

— Ах ты, Яков, Яков!.. — говорили ему мужики с легким упреком.—Ну что бы тебе газету привезти... Там уж, наверное, сказано обо всем... Ведь сбухты-барахты дела не делают. Звонишь вот здесь, поднимаешь всех на ноги, а этим не шутят...

Когда помянули про газету, кто-то сказал:

— Газеты есть у учителя... Пошлите к нему!..

Посланный ходил недолго и возвратился ни с чем. В учителевых газетах про волю не сказано... Может быть, новые придут, а в старых—по-старому...

— Это приснилось ему! — показывали на Якова. — Дадут вот ему волю.

— Пропишут!—поддакивали другие.

Искры, летающие по селу, начинали тухнуть одна за другой. Над Чагадаевкой снова собиралась прежняя туча, закрывающая выглянувшее солнце, и настроение падало... Быстро вспыхнувшая радость сменилась досадой...

В это время вышел учитель из школы.

Слухи о воле встряхнули его, как мячик, из старого темного короба, в котором бесшумно сидел несколько лет, и обрадованный, встревоженный и недоумевающий, он шел по улице, точно на пожарище, крупными спотыкающимися шагами.

Тучи, закрывшие солнце, раздвинулись.

— Глядите! Глядите!.. Учитель пошел!—говорили видевшие учителя, и за ним, точно за фонарем в темную непогодную ночь, торопливо двинулся растянутый хвост мужиков, ребятишек и баб.

— Этот уж знает!

Все надеялись услышать от него новое, еще не рассказанное Яковом; ждали, что он раскроет какую-то тайну

снимет сомнения, прогонит тревогу, и каждый наперед приготовился верить тому, что скажет учитель. И когда он остановился около избенки, в которой жил Яков, его потопила густая толпа, напирающая справа и слева, и на виду от него осталась лишь одна голова в старой засаленной фуражке. Это была очень торжественная минута! Минута, полная веры, ожидания и теплого вспыхнувшего чувства, согревшего и объединившего толпу в строгом напряженном молчании... Темные неверующие глаза сделались шире, светлее... Редкие тяжелые вздохи падали как крупные зерна, выбитые градом из перезревших колосьев... Но нового и волнующего учитель ничего не рассказал. Он только спросил Якова:

— Правда ли, что в городе арестовали полицию?

Яков сказал, что правда.

— И губернатора посадили?

Яков и это подтвердил.

Он стоял перед учителем, как перед судьей на допросе, и боялся, что этот человек, легко умеющий говорить, запутает его, закидает вопросами, и он посматривал на него чуточку исподлобья...

— Ну, а войска как? — спросил учитель. — Они на чью сторону встали?

Яков угадал.

Это был новый вопрос, и люди, загоревшиеся новым любопытством, взглянули на Якова выжидательно. О войсках как-то позабыли в первой горячке, прошли стороной, и напоминание о них заставило потеснить друг друга. Некоторые даже поежились и, показывая на учителя, мигнули. Дескать, выковыривает. Яков не мог дать точного, определенного ответа, и в том, что рассказывал про солдат, чувствовалась путаница, незнание...

Тогда учитель сказал твердым сдерживающим голосом:

— Это не важно, что арестовали полицию. Дело не хитрое! Не важно и то, что сидит губернатор. Суть не в этом... Главное дело — солдаты. С нами они или против нас?.. Если пойдут против нас — радости мало... Помните 1905 год?

Учитель говорил немного, но слова его упали на горячие, еще не остывшие головы, как крупные холодные капли дождя.

Люди разом попятились взад, чтобы не выскакивать наперед, и разом поняли, когда вспомнили про солдат.

— Не выдет!—опять говорили одни.

— Задавят!—говорили другие.

А третьи, самые робкие, советовали обождать.

— Погодите! — говорили они. — Как в людях, так и у нас будет. Не надо беситься... Порадуемся, если объявится настоящая воля, а пока по углам... Будто бы ничего не слышали...

Маленькая потревоженная Чагадаевка в этот день плутала и кружилась, как странница по чужим, незнакомым дорогам... То ударится на одну, то торопливо сойдет на другую...

А все из-за Якова, не купившего газеты!

От его путанных неясных рассказов что-то выпало из мужиков, развинтились какие-то гайки, и машина на время разладилась... Поврежденные, они бродили по избам, не зная, за что уцепиться, курили, ругались, сердились и сдержанно говорили о воле... Старая дорога, по которой прошли их деды и прадеды, казалась им слишком уж тяжелой, тернистой, усеянной горем и обидой, и позывала на новую, открытую Яковом. Но оттуда, с новой дороги, смотрели чьи-то злые угрожающие глаза, налитые кровью и ненавистью; виднелись тысячи рук, приготовивших ружья и плети, и новая дорога, перегороженная солдатами, пугала, отталкивала...

Учитель тоже растерял какие-то гайки...

С улицы он зашел к отцу Николаю и одним взмахом разбил в дому у него старую перегретую тишину.

— Слышали, батюшка?—не сказал, а крикнул он высоким помолодевшим голосом и начал выкладывать вести, привезенные Яковом.

Потом отправился к управляющему в имение купца Тологреева и там перепугал всю семью. От его страшных, запрещенных слов вытягивались лица, нервно подергивались губы, а разбитая тишина, засосавшая сытую жизнь, звенела испугом и жалобой.

Дома он беспокойно поглядывал на дорогу, в надежде увидеть на ней человека, везущего почту, и, меряя комнату, громко и непрерывно постукивал сапогами. Минутами лицо его расплывалось в улыбку. Он думал:

— Пусть Яков не все знает. Пусть и перепутал кое-что, но все-таки что-то случилось... И пока стою я здесь, воля-то, может быть, уже идет по полям, катится по овражкам и не нынче-завтра широким потоком ворвется сюда... Окатит свежей волной, встряхнет, приподнимет и скажет:

„Ну, учитель, радость и праздник несу вам!..“

И эта вера в то, что воля недалеко, что она отгорожена от них лишь глухими дорогами, поднимала в душе пожившего, утомленного человека молодые заснувшие чувства. Их трудно было держать в себе, они просились наружу, и учитель говорил жене, потряхивая головой:

— Мне словно семнадцать лет! Так и хочется выкинуть какого-нибудь вертушка... Ведь ты представь только... загляни хоть одним глазом вперед, а? Представляешь?..

А перед вечером, когда он сидел за чаем, в комнату к нему вихрем ворвался маленький толстоногий Шатун в расстегнувшемся полушубке и, не здороваясь, закричал, точно глухому:

— Василий Михайлыч! Газета пришла... Мужики вас зовут... Скорея!..

Но это уж напрасно добавил Шатун. Учитель и без того готов был выбежать в одном пиджаке. Газету привез Лучкин Никифор из волости, и около Никифоровой избы стояла густая толпа мужиков, баб, ребятишек и девок. Даже дедушка Симон—и тот вылез из своей трущобы и, опираясь на палочку, вытягивал шею. Народ волновался, шумел и весело похлопывал рукавицами...

Развернутая и помятая газета уже лежала на коленях у малограмотного Кузьмы Полосухина и таскала его по черным убегающим строчкам, по черным весенним дорогам. Неопытный и незрячий, он тыкался глазами не туда, долго блуждал в объявлениях, пыхтел над статьями, которые опрокидывали в нем свои обиходные мысли, и от напряжения он даже вспотел.

— Что, Кузьма, не дается?—подсмеивались мужики.

— Без очков он не может!—подсмеивались другие.

Учитель вошел в самую середину. Толпа разом притихла. Шутки и прибаутки отошли в сторону. Он быстро пробежал первую страницу, заглянул на вторую и вдруг, точно падая, взмахнул обеими руками, играя газетным листом.

— У-р-р-р-а-а!—закричал он, задыхаясь от радости и волнения.—В России государственный переворот... Государь арестован... Министры — тоже...

Толпа вздрогнула, закрутилась и сжалась плотнее... Радость учителя не всех заразила подъемом, и в первую минуту на лицах у многих отразилось испуганное недоумение. Слова, что „государь арестован“, — это было уже слишком для людей, привыкших к неволе, и они задавили в них радость грядущего освобождения... А учитель выхватывал из газеты все новые и новые страшные вести и целой горстью бросал их в народ... Он не видел по бокам и позади у себя тревожных лиц с неуверенным блеском в глазах, не замечал и того испуга, какой испытывали эти люди, пораженные тем, что разом разбита вся старая жизнь...

— Солдаты с нами!—весело подбрасывал учитель последние зерна. И сам же откликался:

— Ого! Это недурно... С солдатами дело пойдет...

А когда кончил и темными невидящими глазами посмотрел на мужиков, плотно слитая толпа подалась, расступилась и заговорила своим языком.

— Понюхать тут!—сказал кто-то из задних.

— Задача! — добавил хромой, кособокий Ефим, облизывая губы.

— Зачем же царя-то? — недоумевающе выкрикнул Павел Шагалов, рыжий бестолковый мужик.

— А вот за этим!—неожиданно ответил ему Кузьма Полосухин, становясь около учителя. — Когда режут курицу, то ей отрубают голову. Так и в России начали с головы. Понял теперь?

Подошел Андрей Яковлевич с тихим певучим голосом и, выражая тревогу, сказал:

— Мы, Василий Михайлыч, темный народ... Запуганный. Ты нам растолкуй нашим мужицким языком... Вдолби!.. Я вот слушал, пока ты вычитывал: этого арестовали, этого посадили... Этого разжаловали... И думаю теперь своим соображением: к добру ли такие дела? — Сердцем-то чую, радоваться надо, что оторвали их, шапки надо снять да перекреститься всем миром, а в уши шепчет лукавый: „Эй, Андрей, хорошего

мало. Без начальников тоже нельзя". Вот ты и объясни нам попроще... Успокой! Мы ведь совсем не понимаем... Слушаем, будто в голову не лезет...

— Ну да—правильно!—ударило несколько голосов.

Андрей Яковлевич, словно на исповеди, клялся в своей темноте. Голос у него был искренний, теплый, продуманный, и учитель понял эту растерянность, эту неподвижность в застывших, недоумевающих мужиках.

Через минуту он стоял на завалинке, помолодевший на несколько лет, и громко, заикающимся голосом говорил:

— Радуйтесь, старики!.. Радуйтесь!.. Страшного ничего нет. Только одно хорошее... Не надо бояться... Подумайте, как мы жили? За кого нас считали? Не то за людей, не то за свиней.

— Конечно, правильно!—слышится голос.

— Теперь этого не будет... Свобода переделает нас на людей... На кого вы работали и ковыряли землю весь век?

— На чорта!—слышится тот же голос.

— Теперь и этого не будет... Свобода принесет вам землю... Земля будет ваша—мужицкая. Вы только подумайте хорошенько, какая подходит к нам жизнь... Только загляните вперед... Не тужить надо о прошлом, не жалеть его, а радоваться, что оно разбито... Это ведь не жизнь была у нас, а петля... Собачий намордник... Будет нам плакать—поплакали... Будет горевать—погоревали...

— Пусть и они погорюют!—слышится все тот же упрямый, настойчивый голос из задних рядов.

— Пора и порадоваться нам!..—уже отчетливо рубит учитель.—Только итти надо дружнее... Тащить надо в одну сторону всем, чтобы враги не осилили...

Учитель еще никогда не говорил так долго и такими словами, и сердце народное переполнилось другими чувствами. Сухая солома, подожженная им, вспыхнула, заиграла, запрыгала сотнями искр... Свежий весенний поток блеснул широко и уверенно, сбил, расшатал перегородки, и старые вековые печали, старые вековые обиды, мучившие сердце, полились, понесли на себе пробужденную мысль.

— Слушайте! Слушайте!—весело подпрыгивал Яков, но его уже не слушали... Каждому хотелось высказать свое, которое неудержимо запросилось наружу...

— Будя, помытарились! — грозился толстоногий Шатун, почувствовавший себя великаном...

— Это вот дела! — чвокал все еще не верующий Павел Шагалов.—Значит, теперь все начальство в тюрьме! И царь император и сам городовой? Ну, ну...

— Я так понимаю, старики!—степенно вырубал свои мысли Андрей Яковлевич.—Бояться нам нечего... Солдаты-то с нами... Чего нам бояться? Дружнее только надо... кучей... И друг друга не бросать. Уж плохо—всем плохо... Хорошо—так всем хорошо...

Кузьма Полосухин стучит уже с другого боку.

— Не вытерпела — лопнула!.. Я так и знал... Я давно говорил, что не вытерпит... Больно уж туго тянули за шею нашего брата...

— Вот и дотянули!

— Да, не покажется кой-кому... Отпраздновали.

— А все-таки дивно!—говорит Митрохин, покачивая головой.—Вот уж и в газете написано, а как-то не верится... Царя арестовали... Здоровую надо башку, чтобы придумать это...

— Нынче, видно, всем одна дорога...

— Эх, теперь бы выпить! — шмурыгает носом Шатун. — Что-то уж больно хорошо стало... Радость какая-то пошла по всему телу. Может, и на самом деле осмыслится что-нибудь... Может, и наша копеечка встанет теперь на ребро...

— Если рот не разинешь!—добавляет Кузьма.

— Ты все притчами загибаешь, голова... Говори проще... Говори, что жить надо дружней... Это ты хотел сказать?

Уже наступили сумерки, но народ не расходился. Кружились, топтались, задерживая друг друга, хлопали себя по бедрам и не могли успокоиться, не могли наговориться... Было еще что-то невысказанное, недоговоренное, не вылитое из раскрытого потревоженного сердца, и каждому хотелось вылить, договорить и опорожниться... чтобы больше вместить в себя пьяного волнующего возбуждения... Не радовались и не растворялись в этой радости только два человека в полусуконных

пиджаках — два богатых собственника: Балин и Лузин. Балину мерещилось что-то нехорошее впереди, и он говорил:

— Постойте, старики, не прыгайте... Кабы чего не напрыгать.

Но старики не слушались и прыгали, как голодные воробьи над рассыпанным просом.

— Ты, Балин, сроду в другую дудку дудишь! — упрекали его мужики.—Теперь ведь не прежняя пора...

— А какая же?

— Эдакая! помолчать надо!..

Мужики не знали еще толком, какая теперь наступила пора, но чувствовали, что их захлеснуло волной, подняло, понесло — неизвестно куда. Чувствовали, что совершилось большое, великое, разломавшее старую жизнь, и на обломках ее в грубых выпуклых формах рисовалась уже новая жизнь — сытая, довольная, препоясанная густыми хлебами на вольной мужицкой земле — без податей и подушень — этих злейших, смертельных врагов, высасывающих трудовые копейки.

— Поживем, бог даст! — слышались в сумерках встревоженные голоса.

— Ну, не мы, так дети!..

— И мы поживем... Вот увидите... Время уж, пора... Сколько лет ждем?

Учитель радовался за себя и за других. Дома он сказал жене:

— Ну, вот и дожили! Теперь наш черед дышать свежим воздухом. В России идет Революция.

2. На новых правах

Первые волны, затопившие Чагадаевку, держались недолго. Вести о воле прошумели как птицы, предвещавшие весну, и после них наступила тревожная выжидающая тишина... Внешне жизнь оставалась все еще прежняя, с прежним укладом — нетронутая, непопорченная, как будто бы ничего не случилось, но внутри ее уже что-то лопнуло, сдвинулось, поднялось—и наружу стали просасываться новые, обостренные мысли... Мужики ходили угрюмые, сдержанные, к чему-то прислушивались, приглядывались и таили в глазах темное, пугающее

недовольство... Собираясь на улицах, дико крутились на месте, шумели, кричали, а через минуту вдруг гасли, становились подозрительными и думали каждый свое — в одиночку. Они были еще связаны, и отсутствие воли, имеющей настоящее мужицкое лицо, делало их то неподвижно застывшими, то неестественно возбужденными...

Не успокаивался только Шатун, в которого воля вошла толстым клином. Бывший „не-человек“, „шантрапа“, живущий по-птичьему, он теперь ширился, рос, поднимался и чувствовал силу. Даже выучился вдруг говорить, начал сердиться, сучить кулаками, и мужики к нему прислушивались...

— Какую вам волю надо?—кричал Шатун. — Разве это не воля, ежели вся начальства в тюрьме? А будем сидеть и ничего не делать,—золотую нам не дадут... Опять только по горбам помажут... Надо начинать, старики!.. Действовать надо!..

Ларион Колымагин, грузный, широкий старик, подсовывал спички под ту же солому. Оба они трубили одно:

— Действовать надо!.. Начинать!..

Но солома разгоралась медленно...

Мужики не знали, с чего начинать. Прошумевшая воля подняла в них старые обиды, разбередила старые незажившие раны, и налитые желчью, они походили на вздутый весенний овражек, наполненный мутной бурливой водой. Сдерживать его было трудно, а прорваться и выплеснуть из себя мутную бучливую горечь—боялись. Знали, что старая крестьянская обида ударит широким потоком, многое поломает, побьет и многое перепортит... Шатун с Ларионом вели их не в те ворота, не по той дороге, по которой шли до этого, и мужики стояли на раздорожьи...

Начинать же иначе, не с этого, а с другого конца,—не могли, потому что не знали еще, что можно войти в новую жизнь с другого конца... Та дорога, на которую тащил Шатун, была единственная, где можно было сразу и скоро проявить свою мужицкую волю... И все-таки двинуться по ней что-то мешало, удерживало... Был страх, были сомнения, кружившие голову, и Чагадаевка ждала—выжидала...

Шатун от досады плевался.

— Чурбаки с глазами!—кричал он, подпрыгивая.—Чего ждете? Ждете, когда останутся огрызки? Ну, ждите, чорт с вами... Только уж потом не скулите... Не лезьте в затылки!..

Шатун говорил обрывками, намеками, но это не было тайной. Все знали, что он указывает на тологреевскую усадьбу, на тологреевского приказчика, засевшего в этой усадьбе, и Шатуновы речи смущали, тревожили и неудержимо толкали вперед... Колючие и подхлестывающие, они, словно иглы, входили в мужицкие головы, жалили, разжигали, и белые трубы на зеленой тологреевской крыше становились от этого противными, невыносимыми... Там, словно в фокусе, отражалось теперь все зло, все унижение старой бесправной жизни... Стоило только взглянуть туда—на зеленую крышу с белыми трубами,—и в сердце вспыхивало темное ненасытное чувство... Уже подмывало раскидать всю усадьбу по камешку, по кирпичику... Наплясаться, натешиться досыта на мусоре и обломках и разнести их по ветру, чтобы не осталось следа.

Но на пути становился учитель.

Мужики упирались в него, как в высокую твердую стену, через которую нельзя перепрыгнуть, и, задержанные, отливали назад. Учитель говорил немного, но то, что говорил, попадало в самую сердцевину.

— Слушайте!—останавливал он.—Подумайте!... Где теперь купец Тологреев? Нет его... Где его право на усадьбу? По воде разошлось... Кто наживал усадьбу? Вы и ваши деды... Чья она стала теперь? Ваша, народная... Так зачем же портить и растаскивать ее? Не портить надо, а беречь как свою... Все это пригодится вам, на пользу пойдет...

— Правильно!—соглашались мужики.—Хорошее слово!..

Но Шатун не соглашался.

— Нет, не правильно!—кричал он, подпрыгивая.—По новому праву это совсем наоборот... По новому праву надо вот как... Чтобы духу не было... Будя, помучились!.. А оставь-ка их тут,—что будет?.. Опять на шею сядут...

Шатун походил на молодого растравленного бычка, упрямо бодающего в одно место. В нем чувствовался задор, побеждающий слабых: сила, которая выпирала наружу, и слушая

его, мужики соглашались и с ним. Откуда ни заведут их, и что ни расскажут—везде правильно... От учителя они переходили к Шатуну, от Шатуна снова к учителю и подчас начинали сердиться... Их таскали из стороны в сторону и ни на чем не могли установить, чтобы они почувствовали под собой прочные негнувшиеся ноги. Собственных ног у них еще не было, не было и собственных глаз, указывающих правильную настоящую дорогу, и все они кружились, точно пружинные куклы с светлыми невидящими глазами. Учитель призывал к выдержке, Шатун беспрерывно подсовывал спички в сухую солому... Словесная борьба между ними начала надоедать и казаться ненужной. Голос учителя начал выводить из терпения... Он связывал, угрожал, останавливал, а мужикам хотелось развернуться, сдвинуться и разом выплеснуть из себя мутную накипевшую горечь, чтобы показать свою волю. В том же спокойствии, в котором держал их учитель, и даже в тех тоненьких книжках, в которых читал им о новых народных правах,—совсем не чувствовалось воли и не было ни одного признака, что она пришла в Чагадаевку. Ее нужно было показать, чтобы увидели все, у кого не закрылись глаза; ощупать, чтобы убедиться, что она—здесь, и вдохнуть ее запах, чтобы почувствовать ее близость... А учитель, словно нарочно, отводит ее в сторону и читает какие-то книжки о новых правах... Против него выросло подозрение. Уж не обманывает ли он? Кто-то даже бросил „нехорошее“, обидное слово „буржуй“, которое попало в учителя, и при встрече с ним мужики уже не смотрели в глаза ему, как раньше...

Шатун торжествовал.

Он был неутомим и медленно, но упорно раскачивал Чагадаевку. Здесь шепнет, там разбередит старую незажившую ранку и гудит, словно жук, про мужицкую волю... А однажды ночью, увидев в степи полыхающее зарево, даже выругался от удовольствия и запрыгал на месте.

— Глядите!.. Глядите!..—бегал он по избам.—Ведь это Симушкин хутор вознесло... Вот так! Там, видно, не чешут в затылках... Эх, мы-ы!.. Мало нас, идолов, пороли,— не выпороли... Еще бы надо... черти!..

Шатун победил.

Утром Чагадаевка зашумела другими голосами. Овражек прорвался... Мутная бурливая вода плеснула широким потоком. Кто-то залез на колокольню, и ударил в большой колокол. Частые перепутанные удары посыпались словно камни, брошенные смелой опьяневшей рукой, и подхлеснутые мужики взмыли, как степные разнузданные кони, несясь на церковную площадь...

Туда же бежали и растрепанные бабы, путаясь в юбках; падая, неслись ребятишки с дикими непонимающими глазами; спотыкаясь, тащились старики и старухи, вытащенные из темных ущелий.

Шатун стоял выше всех, сильно размахивая руками, и выплевывал из себя старую горючую ненависть к старым порядкам... А через минуту разгоревшаяся толпа повалила в усадьбу судить тологреевского приказчика. Каждый нес в себе кусочек обиды, кусочек ненависти и желание плюнуть в лицо. Грозный суровый приказчик, перед которым раньше стояли без шапок, вышел теперь сам без шапки, с робкими провалившимися глазами. Было весело и сладко смотреть на его покорно-беспомощную фигуру с низко опущенной головой. А когда он неожиданно стал на колени, это не успокоило толпу и не отрезвило...

В этой покорности она увидела только собственную силу и, наконец, ту пришедшую волю, которая выявила свое настоящее лицо...

— Что, не пьешь?—разом хлеснуло несколько голосов.

— Не нюхаешь?

— И мы теперь „братцами" стали. Ага! Так-твою-разэдак!

— В речку его, идола!

А Шатун, словно ястреб, клевал приказчика в раскрытую голову.

— Кто мою лошадь засек?—Ты. Кто обещался сгноить в остроге?—Ты. Кто ты был раньше?—Бог. А теперь?—Теперь ты червяк. Ф-фу,—нет тебя... Тля ты!.. Наступим и будет мокренько... Хочешь?

— Простите, Христа-ради!..

— Прощенья просит!—крикнул Шатун.—Простим, что ля?

В самую решительную минуту выступил Андрей Яковлевич с тихим певучим голосом и, не торопясь, ровненько начал вырубать трезвые, спокойные мысли, удерживая мужиков...

— Теперь этот человек в наших руках!—сказал он.— Можем мы его и казнить, можем и миловать... Наша воля. Ну, а только лучше помиловать, старики. Пусть уходит от нас... Вот ему дорога, вот время, и пусть уходит. Так ли я говорю, старики?

Толпа не ответила и взглянула на Шатуна. Шатуну польстило, что судьба приказчика находится теперь в его руках, и после некоторого раздумья он сказал нерешительно:

— Да чорт с ним... Пускай уходит, не мозолит глаза... Слышишь ты? Собирайся! На новую землю поедешь...

Толпа развеселилась, обмякла. Послышался смех.

— Ну, а с усадьбой как?—спросил Шатун.

— Разделить!—крикнули из задних рядов.

— Разделить!—подхватила толпа.

Но тут опять появился учитель. Словно из воды вынырнул. Залез на крыльцо и рассказывает про солдат, без которых будто бы неудобно делить... Лучше, говорит, обождать с дележом... Кабы, говорит, греха не нажить... Обидятся они, а усадьба, слышь, никуда не денется.

Опять этот человек связывает Чагадаевку по рукам и ногам, отнимая пришедшую волю... Опять льет надоевшие спокойные речи, перегораживающие дорогу. Что ему нужно в мужицких порядках? Кто он такой? Мужики чувствовали, что учитель говорит дело, говорит правильно,—так же правильно, как думает и каждый из них, но его спокойный голос сделался уже подозрительным. Было бы лучше, если бы эти же слова сказал кто-нибудь другой, но только не учитель, бьющий в какую-то цель... И когда под его словами падала и утихала разыгравшаяся волна, кто-то крикнул, бросая новую искру:

— Чего он морочит? Чего затирает глаза?

Толпа загудела, запрыгала, словно ужаленная. Злые растравленные голоса перепутались, высоко плеснули вверх, и возбужденные мужики начали наскакивать друг на друга.

— А, вы делить?—кричали одни.

— Присосаться хотите?—кричали другие.

— Ну, нет!.. Не будет по-вашему... Подождем до солдат...

А Григорий Софронов, богатый мужик, уже предлагал сто пудов пшеницы на бедных, выговаривая себе пару тологреевских лошадей и рессорный тарантас с мягким сиденьем.

— Ежели что, я хоть сейчас, старики!—кричал он, поводя вокруг жадными покрасневшими глазами.—А делить, конешно, смыслов нет...

Но старики не уступали. Они запутались, завертелись и видели только одно, что вместо приказчика на тологреевских лошадях намеревается поездить Михайла Софронов. Было обидно и горько. Каждому хотелось сесть самому в рессорный тарантас, а так как это было невозможно, так лучше никому не садиться в него поодиночке. Лучше сделать его ничьим, общественным, чтобы не мучиться завистью после.

Эту хорошую мысль вырубил все тот же Андрей Яковлевич, и подхватили. За нее уцепились, как за самое лучшее, что нужно было придумать в горячке, и тут же на дворе сладили небольшое собранье на скорую руку.

— Слушайте, старики!—сказал Андрей Яковлевич.—Я вот что придумал. Есть у нас сельский ямщик?—Есть. Платим мы ему восемьсот?—Платим? А давайте не платить! Как?— Да вот как. Заставим объездчика гонять ямщину на тологреевских лошадях, и восемьсот будут в кармане у нас... Правильно ли я говорю, старики?

— Правильно!

Вывели перепуганного объездчика и сказали:

— Признаешь волю народа?

Объездчик снял шапку.

— Ну, так вот... На нас будешь служить... Замаливай старые грехи... Чтобы нитнють!.. Вентарь весь чтобы в сохранности... Понял?

— Вентарь перепишем!—сказал Андрей Яковлевич.— На учет поставим...

Воля была проявлена. Все почувствовали, что она пришла не на словах, а на деле, и все-таки чего-то еще не хватало, чтобы закончить шумный взбудораженный день... Как-то уж очень просто вышло... Ждали чего-то особенного, страшного,

что должно было выглянуть злыми, окровавленными глазами, а вышло совсем наоборот. Никого не задавили, никто не порезался, не хруснуло ни одно дерево в саду, не упал ни один камень в окошко... Правильно ли это? Ларион Колымагин все-таки не вытерпел, не удержался и обломал молодую березку под окнами. Кто-то навалился на изгородь у палисадника и повалил ее на землю. А строгий серьезный Шатун ударил цепную собаку, охраняющую двор. Он был не совсем доволен. В своем порыве он мог наделать очень больших делов, чтобы показать в себе смелого, отчаянного человека, но теперь уже показывать было не на ком. Недавний еще простор, на котором он думал развернуться во-всю, незаметно и быстро обузился. Смелость казалась ненужной, и потревоженная сила, выпирающая наружу, должна была снова улечься на прежнее место... Надо было вставать на другую дорогу, пробовать силу с другого конца, чтобы вести за собой подчиненную Чагадаевку, но такой уже силы не было... Он не ответит на все вопросы, не распутает и всех узлов, какие будут вязать цепкие невидимые руки... Маленький слепой человек, сильный своими обидами, он упадет с той высоты, на которую поднялся ненадолго, не увидит на себе и внимательных глаз, как было до этого. От сознанья, что он наполовину уже отыграл свою роль, Шатун был недоволен и сердито выплевывал из себя последнюю горечь...

3. Темный лес

Когда захватили усадьбу, вспомнили про тологреевский хворост на Красном озере. О нем позабыли в первой горячке, и теперь всех потянуло на хворост. Снова накатила волна. Сначала рубили в одиночку, потом хлынули целой деревней, и на Красном озере остались пеньки. Стало легче, и мысль о хворосте уже не мучила, не раздражала.

— Вырастет!—говорили мужики.—Хворост—не бревна...

Потом такая же волна захлеснула перед дележкой лугов... Но и это прошло. Все, что можно было разделить,—разделили, поспорили, переругались и опять помирились. Больше делать было нечего. Усадьба стояла заколоченной, с черными

пустыми окнами, инвентарь переписан. На тологреевских лошадях разъезжал теперь писарь Пичуга, комиссар Одонин и Захар Жучкин, уполномоченный по земельным делам... Потревоженная жизнь снова укладывалась в свои берега... Некоторые говорили:

— Как хорошо вышло, а? Сковырнули, да и все тут...

— Это еще не все!—говорил учитель.

— Как не все?

— Очень просто... Надо еще укрепить новые порядки... Организоваться надо... Учиться...

И учитель выкладывал перед мужиками уже новое, совсем непонятное...

Иногда он зазывал мужиков в школу к себе и доводил до одури... Из тоненьких книжек, которые он прочитывал вслух, лезло на них что-то неслыханное, невиданное, но в голову не попадало, а только стукало по вискам, утомляло, укачивало... В ушах зазвенели и запрыгали новые слова: „социализация“, „национализация“, „капитализм“, „социализм“,—и мужики чесали в затылках:

— Вот Сибирь-то!..

А Емельян Курочкин прямо сознался:

— Эдак и от воли откажешься, ежели все в голову забирать... Да меня сейчас убей на месте и скажи: „Смерть тебе, Емельян, голову отрубим, ежели ничего не поймешь!“—отвечу: „Рубите, братцы,—ничего не понимаю... Как в темном лесу“...

— Ты сроду бестолковый!—смеялись над ним.

— Все мы с одной колодки!..

Учителю—тому легко. Положит он в рот эдакое страшное слово, раскусит и показывает: „Вот, мол, глядите!“

— Это, чай, и не к чему нам... побасенки-то!—перечил Шатун.—Вот вашему брату, ученому народу, туды-сюды голову поломать. А нам бы земельку присуседить к себе, да от податев отделаться... Вот нам чего надо!..

Особенно же мучили партии.

Это был настоящий темный лес, в котором мужики не знали, где наступить и на что опереться. Остановятся на одной, смотрят—текут слухи про другую. Эта хороша, а эта еще лучше...

— Да сколько их?—спрашивали они.—Али полсотня?..

А учитель попугивал. Если, говорит, зайдете не в ту— пропало ваше дело!

— Ну, а если мы без партий?—допытывался курносый Милок, расставляющий уши на каждое слово.—Нельзя?

Учитель объяснял, почему надо иметь партию, и мужики вздыхали.

— Провалиться бы ей!.. Так и залезешь по уши в воду... Пра! Чего мы понимам?.. Сядешь не в то корыто и поплывешь...

— Накой только наделали этих самых партий?—ругался Курочкин.—То ли бы дело—одна хрестьянская. Сбиться бы всем в кучу и поднять на „уру" всю Рассею... Это, поди, буржуи-идолы выдумали. Давайте, мол, мужиков разобьем. Пущай аукаются... Тошно им, бесовым ребрам!.. Не по нутру...

— Ищо ба! Мы ведь ежели кучей-то попрем, стену своротим...

Милок думал крепче всех. Однажды он сказал мужикам:

— Ну, так как же, товарищи? В какую? Чагринские стоят за социал-рюценерную... У них там только двое откололись... Мельник Евнушкин и Кузьма Стратоныч. Давайте и мы думать...

— Чего думать-то?—подал свой голос старик Латунов.— Куда люди чагринские—в эту... как ее... и мы туда... Разбиваться не след...

— Каждая бабушка хвалит внучку Аннушку!—кричал Колымагин.

— Которая землю-то дает, за ту и держаться надо...

Сам Милок все еще думал и походил на хорька в луговине. Рылся, копался, прикидывал на пальцы, словно на весы, и стоял в нерешительности. Он был немножко грамотный и иногда почитывал. В нем сидело несытое, голодное любопытство, мешающее спать по ночам, и перебрасывало его из стороны в сторону. Он стоял теперь на том месте, на котором недавно стоял поднятый Шатун, и та улочка, на которой вырос Милок, думала и говорила уж так, как думал и говорил он. Шатун отыграл свою роль. Он тревожил только

чувства, чтобы растопить старую горечь. Милок тревожит упрямые, неповоротливые мысли... Мужики зовут его Моисеем.

— Ты как Моисей еврейский!—посмеиваются они.—Смотри, не утопи только...

Как-то раз он зашел к учителю и покаялся:

— Не сплю!—сказал он.—Все думаю... Прочитал еще про одну, социал-мократическую... Эта как? Не подходяща для нас? У ней что за нутро?

А денька через три, увидя учителя на улице, Милок улыбнулся широкой облегченной улыбкой.

— Кончено! Перешли...

— В какую?—спросил учитель.

— В социал-рюценерную... Грачевские тоже закатили в нее. Теперь у нас все под одну скобку отделаны... Водой не разольешь.

И подумав, добавил:

— Са́мая подходящая она для нас... Мужицкая... Мужицкие интересы блюдет... В Сибирь за нас шла...

Эта партия стояла теперь над Чагадаевкой, как вешняя тучка над сухими обожженными полями, проливая над ними теплый, благодатный дождь. На нее смотрели с любовью, со светлой успокаивающей надеждой, и обиженная, утесненная нищета жалась к ней, как молодые цыплята под старую опытную наседку...

— Эта не выдаст!—говорили мужики.

— Голову оторвет любому буржую!..

Но ничто не вечно под луной. Недолгой была и первая радость. Недели через три Милок повесил голову. Запечалился. В голубых уверовавших глазах у него отразилось сомнение и заразило всю улочку, на которой он жил. Несколько времени он даже нигде не показывался и, точно ягненок в репьях, путался в каких-то вопросах... И все из-за партий... Вот как вышло. Патрин солдат, Сергунька, прислал письмо с фронта и строго-настрого наказывал землякам не держаться за партию социал-революционную. Если, говорит, будете держаться за эту „буржуйную“ партию, то не увидите меня дома. Эта, вишь, партия стакнулась с помещиками и хочет воевать еще четыре года. Сам Сергунька и

Сергунькина рота стояли за большевиков. А что за большевики, какие большевики, ничего не известно.

— Де-ла-а!—крякнул Милок, когда прочитал Сергунькино письмо.—Делишки!.. Кому верить?

Василий Гаврилов тоже прислал письмо из Саратова и тоже наказывал держаться за большевиков... А Прохор Попков—наоборот... Этот прислал, чтобы держались за социалистов-революционеров.

— Ну, воля!—говорили мужики.—Ну, дожили... Сын за эту, я—за эту... Наделаем делов... Где же правда-то?..

— Нет ее!—мотал головой Ковригин, черный остроносый цыган.—В могиле она... Умрет, это будет правда... А остальное—вода... Туда течет, сюда течет... Переливается!..

— Стравят нас! Вот увидите...—кричал Емельян Колымагин.—Сделают козлами и будем пыряться...

Новая партия развалила Чагадаевку на две неравные половинки. Первым зашатался Милок, а за ним и та улочка, по которой он жил. Сергунькино письмо словно крючком зацепило ясные, налаженные мысли и начало вытряхивать их одну за другой... А Прохорово письмо опять укладывало на прежнее место. Получалось что-то путанное, неясное, ломаное, и Милок даже почернел от досады.

— Сурьезное дело!—говорил он.—Подумать надо, товарищи!

— Да чорт ля думать-то!—сердился старик Латунов.—Пожалуй, думай... И то уж голова-то на колесо похожа... Думать... Там уж додумались... Дает ежели землю, за ней и пойдем, чтобы от солдат не отшибаться... Для нас кто ни поп, так батька...

Но дает ли новая партия земли и сколько, об этом никто не знал. Андрей Яковлевич наваливался на учителя.

— Сходим к нему в училищу!—советовал он.—Уж кому-кому, а ему известно... Неужто обманет?

Но к учителю не пришлось итти. Через три дня приехал Матвей Кочерыжкин—солдат, и сразу же, в один вечер, разрубил все сомненья, опутавшие Чагадаевку. Раньше Матвей тоже был „рюценером“, а потом заметил будто бы какую-то фальшь и стал большевиком. Он рассказывал все, что

слышал и упомнил на митингах, добросовестно сеял вокруг себя все большевистские зерна, которые не растряс и не растерял за дорогу, и Милок смотрел на него, не отрывая глаз. Но главный козырь, с которого выходил Матвей, был, конечно, мир. Это слово ловили, подхватывали и готовы были поднять на руки, если бы можно было поднять его. Оно отражалось в глазах, чувствовалось в улыбках и звенело в нестройных приподнятых голосах... Трехлетняя война, выпившая лучшую, здоровую кровь из деревни, замучила страхом, слезами, отравила жизнь слепыми, хромыми, безрукими, и каждому хотелось отвлечься от этого ужаса; каждому хотелось прижаться к той партии, которая обещает немедленный мир. Какой он будет—долгий или короткий, надежный или ненадежный,—об этом не думали, не ломали голов. Лишь бы только мир... Только бы вернуться домой и уйти из ненавистных окопов, а там видно будет. Вперед не загадаешь.

И усталая, измученная Чагадаевка потянулась за миром, как голодная за показанным куском хлеба, не разбирая ни вкуса, ни запаха.

— Это вот партия!—чвокал Емельян Курочкин.—По нашей дороге поперла.

Слабый, неустойчивый Милок не выдержал. Из „рюценерной“ веры он перешел в большевистскую и начал крестить остальных.

Вот нам куда дорога!—проповедывал он.—Тут как на ладонке все выставлено... Ежели перейдем в ихнюю партию, то и войне конец... А ежели на рюценерную руку потянем, еще воевать четыре года... Глядите вот, кому куда... после не жальтесь...

— Ты, Митрий, только грех разводишь!—жаловались мужики.—То в ту, то в эту... Шайтан!.. Не поймешь, а стучишь...

Спиридон Жвачкин шагнул еще дальше. Он даже божился, что большевики все недоимки простят, если в силу войдут: и земские и волостные... Матвей не говорил об этом, но Спиридон и не догадывался, что он „сочинил“ это сам. Ему казалось, что он где-то и от кого-то слышал эту выдумку, и теперь разносил ее так уверенно, что многие прислушивались к ней и забирали в себя...

— Все до копейки!—звонил Спиридон.—Как под бритву...

Дождик пролил из другой тучи, и в одну неделю Чагадаевка проросла выдумкой, небылицей и сказкой, как жирная, плохо обработанная десятина... Прибывающие солдаты тащили с собой все навеянные газетные сплетни, все новый и новый митинговый мусор. Бабы выдумывали свои страхи. Одна слышала: колокола будут снимать... Другая слышала: ребятишек не станут крестить... Старики поджидали антихриста... А Карягин, солдат, Осип Картавый, рассказывал про рюценеров, которые будто бы продались мериканцам за 40 миллионов.

Отупевшая, замученная Чагадаевка походила теперь на огромный раскрывшийся короб, в который сыпали и лили все, кому что вздумается, и мужики клевали из этого короба, как тощие, голодные куры, жадно набрасываясь на каждую скорлупу и кожурку...

В воскресенье учителя свели с Матвеевым, чтобы посмотреть, как они будут щипаться. Это уже было зрелище, и мужики повалили на него со всей Чагадаевки. В школе в этот день выдавили окно и поломали парту.

— Посмотрим, кто кого из них!—думал Милок.

Учитель волновался и беспрестанно курил. Не легко ведь... Не шутка... И когда он положил руки на стол и слегка приподнял голову, чтобы начать говорить, толпа как будто бы совсем перестала дышать... Стало тихо. Учитель говорил понятно и просто, но Матвей еще проще. Он крыл его одним широким и непобедимым словом:

— Мир!..

— А что такое мир?—горячился учитель.—Вы думаете это—плетень заплести? Не-ет, около него походишь... Это еще не сказка, а только присказка...

Но ему уже не верили... На него смотрели как на упавшего, разбившегося человека. Некоторые даже с сожалением.

— Против пошел!—говорили мужики.—Не за нас...

— Вертится!—говорили другие.

— Как он его... Матвей-то... Этим самым—миром-то,—тому и некуда... Топ, топ, а не вылезет... Ну и Матвей... проклятый! здорово навострился.

Сначала мужикам любопытно и весело было смотреть, как они лупят друг друга, а потом надоело... Глаза утомились смотреть, уши утомились слушать... Каждый новый день приносил все новые и новые разговоры...

— Договорился!—качал головой Андрей Яковлевич.— Да боимся...

Поставленный учителем, он стоял прочно, словно на четырех ногах, стойко выдерживая ветер, и когда Милок, увлекаясь, налетал на революционную партию, на которую раньше молился, Андрей Яковлевич говорил своим тихим певучим голосом:

— Постой, Митрий! Не плюй в колодец... Погодить надо немножко...

Шумная, взбудораженная Чагадаевка наливалась спешкой и недовольством... Приходилось смотреть и направо и налево, чтобы не зайти куда в сторону; приходилось тревожить тугие, неповоротливые мысли, чтобы выбрать настоящие спелые зерна из огромного раскрытого короба, а с непривычки от этого болели только головы... Жизнь, как кошка мышку, гоняла мужиков из угла в угол по разным дорогам, встряхивала, толкала, пугала и радовала, и темные, еще не прозревшие, они чувствовали себя в этой новой неразгаданной жизни как в темном незнакомом лесу, не зная, куда наступить и на кого опереться... Было одно утешение:

— Как люди!.. Только бы земельку присуседить себе, да лес получить, да от податев отделаться за прежние старые годы...

На остальное—махали рукой... Устроится, мол, без нас... Думали в простоте своей, что поднять эти три камня так легко, как легко посмотреть на них издали...

1919

ОБ ИВАНОВОЙ ДУШЕ

Звали его Иваном. Жил плохо, с недостатками. Конечно, грешил. Завидовал сытым, одетым, обутым, даже мертвым... Заберется, бывало, на печку и вымеривает чужие карманы. У Михайлы шабра — вот столько-то, а у Егора с Гаврилой — еще больше... Мерил, мерил — надоело. Скучно стало переливать из пустого в порожнее. Прожил сорок четыре года, думает:

— Умереть бы, што ли, скорее... Какая жизнь?

— Что же? — сказала смерть. — Умереть недолго... Ложись!

— Прямо сейчас?..

— Ну да...

Смирный мужик был Иван. Покорный. Лег в передний угол, сложил руки крестом на груди, вздохнул, поморщился и умер...

Вышла Иванова душа из мертвого тела, обулась в старые Ивановы лапти, сложила в сумочку добрые и недобрые дела — пошла к богу... Идет, спотыкается... Идет — невеселая... Еле ногами двигает... Тяжела сумочка на плечах! Сорок четыре года прожила на земле, много нагрешила... Не под силу тащить ношу земную на высокую гору небесную... Трудно!..

Шла-шла, видит впереди себя другую душу — купеческую...

Идет купеческая душа прямо, идет — не мотается... А за ней на телеге везут четыре подсвечника, восемь лампад, два колокола, пожертвованные в разное время на разные колокольни... Десять пудов деревянного масла, сожженного в церковных лампадах, восемь пудов белых свеч, перекупленных разным угодникам в разные праздники, целый сундук серебра, розданного нищим, попам и монахам...

Горько стало Ивановой душе.

Посмотрела в холщевую сумочку, набитую добрыми делами, уронила туда две сокрушенных слезинки...

Когда пришла на небо, спросила:

— Где у вас райские двери?..

— Зачем тебе?—спросил привратник.

— В рай хочу...

— В ра-ай? А ну-ка покажи добрые дела!

Взял холщевую сумочку, прищурился. Поглядел-поглядел, вытянув шею, и все, что было, вытряхнул на пол... Выпало несколько тоненьких свечек, купленных на рождество и на пасху, несколько грязных семишников, опущенных в кружку церковную, и две сокрушенных слезинки, как две переспелых горошины...

— Все?

Сунулась Иванова душа по карманам, пошарила за пазухой, тихонько сказала:

— Все!..

— Ну, с этим не пропустят, объясняться придется...

— С кем?

— Конечно, с кем... С богом...

— Доложи, что я пришла...

— Ладно... доложу...

Села Иванова душа на скамеечку около райских дверей, дожидается... Держит в руке тоненькие свечи—посматривает... Одна осталась непринятая, необласканная. Наступил вечер.

— Не позабыли ли про меня?

Постучалась... Молчат...

Еще постучалась—сильнее. Не отпирают.

Обидно стало.

— Не примают!

Повесила голову, а из глаз прямо в сумочку падают горькие-горькие слезы...

Поздно вечером, когда загорелись звезды небесные, слышит:

— Где Иванова душа? Ведите!

Взяла сумочку, налитую слезами, затеплила тонкие свечи—вошла... Посмотрел господь на нее, убогую и заплаканную, обутую в старые лапти, покачал головой.

— Пришла?

— Пришла...

— Ну, рассказывай, как жила!..

— Чего рассказывать? Ты знаешь, как я жила... Не покупала я колоколов на монастырские колокольни, не вешала и лампады в церквах, нищая—я!..

Услыхали апостолы с пророками, подивились:

— Какая смелая!

А Иванова душа продолжала:

— Обидно мне! Сорок четыре года я жила и работала, натирая мозоли... Сорок четыре года терпеливо надеялась на правду небесную. Пришла сюда — не пускают... Тебе, слышь, нельзя... Добрых делов у тебя нет...—А какие у меня добрые дела, коли я всю жизнь только и грешила с богатыми, работая на них? Разве не я сеяла хлеб и слезами поливала землю в засуху? Разве не моими руками заработано серебро, которое раздавала купеческая душа нищим, попам и монахам? Все сорок четыре года я только и делала, что кормила, одевала и обувала других... Погляди, в чем я пришла. Разве это не доброе дело?

Слушают апостолы с пророками, переглядываются...

— Убьет ее господь за такие речи.

А господь посмотрел на нее и говорит:

— Та-ак! Значит, ты сердишься на меня? Значит, я виноват?

— Я не говорю, что—ты...

— Как не говоришь? Разве не ты жалуешься? Целую сумочку одних слез наплакала... Тут у тебя не устроено, там не устроено... Этот обидел, этот утеснил... Да разве маленькая ты? Взяла бы да и отсунула, коли мешают... Не-ет, ты все на меня надеялась.. Вот, мол, бог даст,— хорошо будет... Надаешься вам? Да уж и давать, признаться, нечего. Все роздал. Дал земли, чтобы трудиться на ней каждому в меру, а вы там господ наделали... Каких-то помещиков... Ну, и бурлачьте на них... Вы наделали, вы и разделывайтесь!.. Да что там! Надоело мне смотреть на вас... Руки вам дал помогать друг другу, а вы ими настроили кабаков да острогов... Только и норовите, как бы прижать друг друга... Вот и ты... Чем я обидел тебя? Разум дал, способности дал, а ты их

зарыла... Заспала... Ведь я замучился с тобой! То и дело глядишь на небо, чего-нибудь клянчишь... Обижать начнут— опять ко мне: „Господи, защити!“ А сама палец о палец не стукнешь...

Молча слушала Иванова душа — стыдно стало. Правду говорил господь. А когда кончил, спросила:

— Значит, не пустишь в рай?

— Смешно мне! Ты и сама не знаешь, чего просишь... Разве здесь рай-то? Он там, на земле у вас...

— Ну уж и рай! Ад настоящий!..

— Устраивайтесь. Это от вас зависит... Я не при чем... Живите дружнее, по-братски, заводите порядки новые, а на печках не валяйтесь!.. Да и на меня не надейтесь!..

— Все-таки пусти!

Еще раз улыбнулся господь.

— Ну, что с тобой делать? Иди, если больно хочется... Не жалко... Только не понравится тебе... Холодно здесь...

Вошла Иванова душа, села на маленькое облачко, сидит. Посидела - посидела, ходить начала... Туда посмотрит, сюда посмотрит... Нет никого. Скучно! А внизу на земле травы растут, деревья распускаются, цветы благоухают, птицы поют... Хорошо!

Просидела Иванова душа два дня и две ночи. Утром, на третий день, брызнуло яркое солнышко, заблестела роса на полях, задымились озера, тихим шопотом заговорили колосья. Взяла холщевую сумочку, вылила наплаканные слезы у престола господнева, сказала:

— Господи, я жить хочу! Не суди меня, глупую... Отпусти!

— Далеко ли?

— На землю пойду... Там устраиваться буду...

Благословил ее господь на доброе дело.

— Иди! Не ленись только и надейся сама на себя... Хорошо будет!..

БОЛЕЗНЬ

1

Прожил отец Павел тридцать два года, ни разу не ездил в больницу. Зимой ходил в валенках, весной и осенью — в глубоких калошах. На похоронах, в холод, обвязывался теплым шарфом. Осторожный. Охотно крестил ребятишек, служил панихиды, молебны, бренчал на гитаре, сжигая ненужное время. Восемь лет священства прошли безболезненно, как восемь воскресных обеден. Радовался полной налаженной жизни. Сам был тоже полный, румяный, с курчавой бородкой. Ходил по-утиному, любовно таская тяжелый, растущий живот.

Иногда хвалился:

— Я как сбитень. Наверное, в дедушку. Дедушка у меня псаломщиком был. Эх, и здоровый!

И вдруг захворал. По ночам начал пугаться: прислушивается, озирается. Вытянет шею, словно гусь над гусятами, сидит, подобрав босые холодеющие ноги.

— Эх, по-оп!

Однажды матушка заплакала, собирая в платочек упавшие слезы.

— Чортова революция.

— О чем?

— Как о чем? Ты похудел, осунулся... Совсем не похож на прежнего.

— Оставь! Нездоровится мне...

Матушка обиделась.

— Разве я чужая тебе?

О. Павел не думал раньше: чужая или не чужая ему полная отсыревшая женщина. Немножко опешил. Наскоро

припомнил длинную восьмилетнюю жизнь, прожитую вместе: несколько тысяч ночей, проспанных под одним одеялом. Вздохнул. Да, чужая. Он не знает, что у нее в душе, она не знает, что у него в душе. О чем она плачет?

— Не плачь. Не умру.

Матушка заплакала сильнее, вечером позвала Пронину старуху.

— Батюшка болен.

Ночь была длинная, как темный косой переулок. В столовой до утра горела привернутая лампа. В тишине по комнатам ползали лохматые страхи. Кто-то как будто заглядывал в окна, осторожно давил половицы. Глаза у матушки покраснели, щеки ввалились. Когда поднимался о. Павел, тревожно вертя головой, поднималась и она. Пробовала положить его на теплую протянутую руку, но он отбивался, топырился, говорил, что ему душно, торопливо откатывался к стенке.

Утром запрягли сивого, с грязными непрочищенными боками, в санях расстелили дерюжку, как для новобрачных: матушка повезла о. Павла в больницу. Он не упорствовал, не отказывался. Только брови приподнял, удивляясь нераскрытой игре. На крыльце стояла Катерина—прислуга—с маленьким закутанным Сережей на руках. У ворот топтался церковный сторож Аким. Позади за санями, отдуваясь, лежала корова с светлыми непонимающими глазами. Матушка села за кучера, неумело натягивая вожжи, торопливо взмахнула кнутом. Сивый, покачиваясь на раскатах, потащил их по узенькой клинцовской дороге, мимо черного обтаявшего кладбища.

Стояла ранняя весна. По буграм чернели проталины, в долах лежали синие ноздрястые сугробы, изрезанные солнцем. Сивый бежал ровненько, шевеля приподнятым ухом. Разъезжаясь, скользили высокие сани с обшитым задком, под полозьями плескались первые весенние лужи. В развернувшемся просторе было шире и легче, чем дома, в маленьких закупоренных комнатах. О. Павел, усаженный по-зимнему в теплый тулуп, с забинтованными в одеяло ногами, будто не ехал, а плыл по воздуху в мягкой подвешенной зыбке. Смотрел на лошадь, на солнце, на черные проталины по буграм, улыбался.

— Вот мне и легче. Просто, я засиделся и выдумал лишнего.

2

Доктора в больнице не было. Принимал фельдшер Иван Финогеныч, в грязном халате с засученными рукавами. На полу в приемной сидели бабы, вывалив груди, кормили зевластых больных ребятишек. Были тут и золотушные с почерневшими болячками, и обожженные с грязными непромытыми ранами, „желудочные“, „лихорадочные“. Охали, жаловались, сидели молча, уронив головы. В кабинете у Ивана Финогеныча кто-то взвизгивал, топал ногами. Старая недовольная фельдшерица, с папироской в зубах, автоматически кричала, подавая пузырьки из аптечного окошка:

— Три раза в день по ложке.

Лукачев старик, упершись бородой в согнутые колени, беспрестанно кряхтел.

— Вот она война-то где. Верхом села...

Молодой солдат с распущенным хлястиком мучительно кашлял, хватаясь за грудь. На узеньком диване лежала старуха с переломленной голенью. Было стыдно, неловко среди вороха болящих, испорченных жизнью. О. Павел думал:

— А у меня чего болит?

Домой вернулся расстроенный. Вечером матушка зажгла лампадку перед иконами, о. Павел сказал:

— Не верим, а зажигаем. Кого обманываем?

— Странный вопрос!

— Нет, не странный! Даже очень не странный, если подумать над ним.

Захотелось отпереть темный заколоченный ящик, — раскрыться.

— Вот ты какая! В больницу возила, лечишь... А знаешь, чем я болен? Я ведь не телом болен, душой... Да, да. Стыдом болен. И за свои руки, которые ничего не сделали доброго, и за свой язык, который не сказал ни одного правдивого слова.

Матушку пугали пристальные расширенные глаза. Вздрагивала курчавая бородка, кривились губы. Хотела уйти от странных неслыханных слов, о. Павел схватил за руку.

— Сиди! От этого не убежишь...

— Лег бы ты, Панечка.

— Разве лучше будет?

— Вредно тебе волноваться...

О. Павел поморщился.

— Ты словно в колодец плюнула. Только я дорылся до свежей воды, а ты плюнула и все замутила...

Загасил лампадку в переднем углу. Прошелся по залу, высоко поднимая задрожавшие ноги, посмотрел на темную пустынную улицу, остановился в дверях. Стол. Гитара. Чайная посуда. Самовар шумит. Вот здесь каждый вечер подолгу сидели за чаем. Кружились люди в кольце, не было выхода: падали, гибли, выброшенные из берегов, а они с матушкой сидели в этой комнате, украшенной голубыми обоями. Собирали, укладывали в сундуки, мерили, вешали... Кругом ломалась человеческая жизнь, потерявшая последнюю цену, а они, словно в ковчеге, носились над ней, залитой слезами, насыщали несытое глупое сердце.

Матушка тихонько плакала. Стало жалко одинокую. Наклонился.

— Сердишься, Финечка?

— Я не сержусь. Пугаешь ты меня...

— Жизнь пугает, не я. Ты видишь, как все в ней ломается Выкинут нас.

— Ну, что же делать?

— Вот и горе мое — не знаю... Испорченный я человек, поврежденный. Утонул в лицемерии перед людьми и перед богом, а вытащить себя из этого болота не в силах... Хочется взглянуть на жизнь другими глазами, заговорить другим языком,—кто-то мешает, держит обеими руками, тащит назад. Кто? Может быть—ты, может быть—дети, воспитание... Ведь ты не знаешь, какой я лживый, скверный, двуличный. Как я притворяюсь! Каждый день, каждый час, каждую минуту... В алтаре, на амвоне, на улице. У-у, мерзость!

О. Павел исповедывался. Сладко было мучить в себе одинокого беззащитного попика, согрешившего тысячу раз. За столом, словно у подножья распятого, неутешно плакала матушка Фаина Аркадьевна.

3

В пятницу было собрание. Молодо, празднично заговорил будничный великопостный колокол, охающий о мужицких грехах. Звуки разлетались как искры. Каждая искра зажигала пожар. Кто-то испуганно перекрестился, выглядывая из калитки, кто-то торжествующе выругался. Люди неслись на церковную площадь в расстегнутых полушубках, в распахнутых пиджаках. Ползли старики, волоча неповинующиеся ноги, галопом скакали ребята.

О. Павел лежал в кабинете на солнечной стороне, читал о демократической республике в тоненькой книжке. На окне сидела кошка с поднятыми настороженными ушами. С крыши падала редкая капель. Растились куры, громко вскрикивали гуси. Когда ударил колокол, книжка в руках задрожала, строчки слились. Демократическая республика заглянула в лицо красным смеющимся глазом... Было страшно выходить на улицу, оставаться в комнатах совестно. Хотелось слиться с другими, закружиться в подхватившем потоке: смотреть на все хмельными помолодевшими глазами, дышать полной грудью. Путаясь в рукавах старенького полукафтанья, начал одеваться. Постоял, поморщился, повертывая шапку в руках, выкурил целую папиросу в прихожей, нерешительно вышел.

Вот оно мужицкое собрание! Мелькают вытянутые руки, прыгают всклокоченные бороды, сцепляются глаза, полыхающие внутренним огнем. У каждого свои радости, подбрасывающие вверх, свои печали, сосущие сердце. По одну сторону—безлошадники, безземельная голь, хлебающая воду по праздникам, шершавые немытые батраки, работающие на чужого дядю. По другую—бывшие крикуны, мироеды, уцелевшие от войны. Выныривают солдатские шинели, пустые, болтающиеся рукава, стучат деревянные ноги.

Молодой оратор из города разворачивал старую жизнь. Когда упомянул про духовенство, о. Павел инстинктивно пригнулся. Лицо покраснело, на лбу под шапкой выступил пот. Рядом кто-то крякнул; кто-то протяжно вздохнул. Близстоящие начали колоть жалостливыми, насмешливыми глазами.

— Это заслуженное!—думал о. Павел.—Кому я служил?

Вспомнилась молодость. Первые планы, первые надежды. Все высушил семинарский катехизис. Надел поповские одежды без радости, но и без печали. Стал жить. Пожил немного— успокоился. После первого ребенка стали ждать второго. Появилась несытая, стариковская жадность. Вместо стыдливого семинариста вынырнул толстенький коротконогий попик с курчавой бородкой. Жизнь становилась похожей на темницу, опутанную ложью, корыстью и ленью. Загнанный в эту темницу, о. Павел сидел в ней, не думая о побеге.

— Да, это заслуженное!

4

Состарилась матушка. Припухшие глаза были заплаканы, на щеках лежали размазанные дорожки от пролитых слез. Сидела в спальной. Приходила Абрамовна, Пронина старуха. Собрала все страхи, рассыпанные по березовским переулочкам, долго мучила жалобой.

— Горюшко!

О. Павел присел у стола. Пристально осмотрел стены с порванными обоями, переставил чернильницу, взглянул на жену. Вот если бы она помогла! Подошла бы поближе, сказала: „Не печалься, Паня! Тяжело тебе в этих одеждах—сними. Тяжело стоять перед престолом с пустым, неверующим сердцем— уйди. Горе встретится—поделим его пополам“.

Матушка начала выкладывать темные страхи, принесенные Прониной старухой. О. Павел долго смотрел на нее тяжелым нелюбящим взглядом.

— Уйди! Ты мешаешь мне...

— Давно?

— Девятый год...

Не было ни слез, ни упреков. Прочное кольцо, замыкавшее восьмилетнюю жизнь, распаялось совсем неожиданно. В наплаканных глазах у Фаины Аркадьевны закурился дымок. Внутренно оторвавшись от мужа, повернулась, пошла в спальную—коротать одинокие дни.

— Ну, вот и конец!—подумал о. Павел.

Поднял голову, увидел в дверях черную промелькнувшую юбку, как черную пролетевшую птицу, вздохнул.

— Ну, вот и конец!

Вечером долго лежал на сундуке, вытянув ноги. Перекошенные губы выдавливали растерянную улыбку. Пришел церковный сторож.

— Будет ли завтра заказная обедня?

О. Павел сердито сказал:

— Не будет.

— Почему?

— Потому и не будет... Служить не желаю...

Сторож попятился.

Ночью о. Павел долго смеялся беззвучным пугающим смехом. Осторожно, на цыпочках вышел в столовую. Зажег потушенную лампу, снял маленькую икону спасителя. Заглянул в глаза, налитые светлой печалью, отчетливо прошептал:

— Помоги!

— Не веруешь?

Тревожно ударило сердце. Искривленные губы ответили, повинуясь другому:

— Не верую.

Вышла матушка. Увидела бессмысленно улыбающегося мужа с иконой в руках, отступила назад.

5

Утром двое мужиков вывели его на крыльцо, усадили в тарантас, отправили в город к хорошему доктору.

Ни на кого не взглянул. Как вышел с опущенными глазами, так и просидел в тарантасе до тех пор, пока не тронулись с места. Было безразлично — куда везут, лишь бы только выехать, уйти из мертвого заколдованного круга. Когда выехали за околицу, сказал жене:

— Какие мы комедианты... Ужас!

Матушка думала:

— Как буду жить?

КРАСНОАРМЕЕЦ ТЕРЕХИН

1

Вот как рисовалось будущее ему: живет он, Терехин, за отцом, исполняет отцовскую волю. Потом отойдет от отца, будет вести свою линию. Дадут ему лошадь, может быть—пару овец. Не лошадь, так коровенку. Выселят поближе к околице на свободный пустырь, и он, молодой хозяин, станет раздувать свое кадило: класть копеечку на копеечку, рано подниматься, поздно ложиться. Лет через двадцать состарится, спустится под гору, выпустит на смену своих сынов́ей. А если придется поработать впустую — значит, судьба. Ничего не поделаешь.

Когда Терехин был маленьким, он уже видел, что у них с отцом очень нехорошая судьба—не такая, как у Степана Сысцова. Степанова судьба — из другой глины вылеплена. Сжалилась она над Степаном, построила ему пятистенную избу под жестью, полон двор нагнала лошадей с коровами, овец, свиней, насыпала разного хлеба амбар, берегла как любимого сына.

В деревне про него говорили:

— Счастливый Степан—везет ему!

Терехиным—отцу с сыном никто не вез. Избенка у них маленькая, тесная, грязная. Ни повернуться, ни разбежаться негде, и жили они в ней как телята, привязанные веревкой за шею. Сроду из лаптей не вылезали. А пили-ели не то, чего хотели, а то, чем судьба угощала. Угощала же она их очень скверной пищей. Отец вечно ругался, злился, плевал под ноги, замахивался на ребятишек.

— Скоро вы сдохнете, окаянные? Провалиться бы вам!

Ребята не проваливались.

Рассматривая свою жизнь, словно кобылу, выведенную на базар, думал отец:

— Что это такое? Руки у меня здоровые, не ленивые. Работаю в будни и в праздники. Не пьяница, не картежник, а живу словно пес под чужими окошками. Почему это так?

Ему казалось, что в нем не хватает хитрости, чтобы разбогатеть, смекалки, и в погоне за этой хитростью со смекалкой старый человек начал немножко воровать. Где борозду лишнюю припашет из чужого загона, где выпустит лошадь нарочно в чужие овсы, присвоит обрывок веревки, припрячет попавшийся гвоздь. Много было греха из-за этой хитрости, много скандалу, а пользы никакой. Приходилось драться, щелкать зубами, щетиниться, смотреть на людей красными, затравленными глазами, и все-таки жизнь не толстела от этого, полноты и довольства не было.

2

Наступила война с Германией.

Собрала судьба мужиков, поставила словно баранов, приготовленных на убой, сказала:

— Идите!

Не хотелось итти, плакали, упирались и все - таки пошли. А когда уцелевшие вернулись домой с пустыми болтающимися рукавами вместо потерянных рук, с короткими обрубками ног — судьбой возмущались, жаловались, но плюнуть в лицо ей никто не решался.

Пришла революция.

Это была не судьба, созданная невежеством, а гневная народная воля.

Терехин-старик незаметно помолодел, выпрямился, выше поднял голову, посмотрел вокруг веселыми, играющими глазами. И солнце стало другим, и старые знакомые поля с перелесками сделались шире, просторнее.

Радовался и молодой Терехин.

Вот свобода наступила, и он уцелел от войны, остался нетронутым, имеет здоровые руки, ноги. Думал:

— Наплевать на других! Только бы мне хорошо. Засеем с отцом побольше, насколько силы хватит, уродится — в отдел уйду, сам буду хозяйничать.

Жадный был.

Наголодался за двадцать два года своей жизни, и Степана Сысцова догнать хотел. На свободу смотрел как на дойную корову и все четыре соска хотелось захватить в свои руки, выдоить молоко в свой горшок.

Уцелел Терехин от царской войны, а революция поставила его в Красную армию. Тогда он думал иначе. Думал-думал — затосковал. Ляжет уснуть, перед глазами — война: холод, ветер, пустынное поле. Щелкают ружья, ухают пушки, падают, ползают, барахтаются на снегу окровавленные, обмороженные люди...

Хмурился Терехин, открывая глаза по ночам.

— Не пойду! Зачем война? Разве нельзя без нее?

С этими думами его усадили в сани, выпроводили за околицу, поплакали, как над покойником, отправили в город. И всякий раз, лежал ли Терехин на отдыхе, шел ли степными проселками, увязая в снегу, стрелял ли сам чужими, неповинующимися руками, прислушивался ли к выстрелам других, бегущих навстречу, думал:

— Как только можно будет — убегу.

В сердце зрела измена. Боясь выдать себя, почти не разговаривал он. Все только прислушивался, молча стискивая зубы.

Спросят товарищи:

— Что такой, словно воды нахлебался?

Ответит:

— Ладно мне, какой есть...

3

Шли бои.

Одни уходили вперед, другие возвращались назад на носилках, третьи оставались на месте, пожертвовав жизнью за тех, кто оставался в живых, и в этом беспрерывном потоке люди падали как листья, сорванные ветром. Снова шли, чтобы упасть в другое время, на другом месте, снова возвращались назад на носилках, незаметно терялись на дальних дорогах, в туманах, оврагах.

Иногда собирались в ряды, шли беззаботной походкой, перекинув винтовки, пели, шутили, смеялись, устраивали чехарду. Загоняли друг друга в сугробы, тыкали головой в снег, зябко постукивали подмороженными сапогами.

Сзади и впереди тащились большеротые пушки на высоких колесах, гремели походные кухни, понуро шли оседланные лошади, дымил ветерок. Глядя на все, казалось: не война это, не страдание и не страшное, что кружило кольцом человека, а обычное, деловое,—ярмарочный обоз, растерявшийся на длинной изрытой дороге. Идут и едут люди с забинтованными головами не навстречу смерти, а к шумному артельному самовару на постоялом дворе, и разговоры у всех простые: о табаке, о девчонках, о хороших и плохих лошадях, уставших в походе.

Войны не было.

А потом эти же спокойные, равнодушные люди отчаянно раздували ноздрями, стискивали винтовки в прозябших руках. С размаху падали в снег, вытянув ноги, лежали разорванной цепью. Вскакивали, бежали вперед, снова падали, припадая губами к колючему жесткому снегу.

Опять повторялось прежнее.

Некоторые шли дальше, некоторые оставались на месте, раскинув руки-ноги. Попадались сорванные опаленные шапки, красные пятна, просочившие снег, мерзлый ботинок с оторванной ступней, поломанная винтовка, выпавшая из разжавшихся рук.

У Терехина было такое ощущение, словно он шел не по земле, а по тонкой натянутой веревке: вот-вот оборвется веревка! Разъедутся задрожавшие ноги, полетит вниз головой... Люди, идущие рядом, казались непонятными. Их шутки, чехарда, бесстрашное кидание вперед без жалости и раздумья никак не укладывались в голове. Хотелось понять: почему это так? Он идет с опущенной головой, они посмеиваются, разговаривают о табаке, лошадях, девчонках. Он прячется, отстает, ищет невидящими глазами бугорок, долинку, занесенную снегом, чтобы укрыться от смерти,—они не прячутся, не скрываются, лезут вперед. Падают и все-таки лезут. Разве им не хочется жить? Разве у них нет отца и матери, жены и детей?

Не мог понять Терехин.

И оттого, что не мог понять внутренней силы, побеждающей холод, тоску и страдания, нес он тяжелую ношу сомнений, жалости к себе, утомления. Уже не думал о побеге, потому что бежать было некуда, шел обреченным, наполовину погибшим, мысленно прощался с родными. Иногда плакал украдкой, закрывая глаза. Мучила одна мысль:

— Где, когда упадет он, роняя винтовку?

— Где, когда подойдет к нему смерть?

Одного хотел: умереть получше, поспокойнее, без лишних страданий. Хотя бы так вот: лежит он в цепи, отстреливается, думает о жизни, о том, что уцелеет, вернется домой, засеет земли побольше, а пуля—прямо в голову. Сразу! Совсем не жил человек.

Представляя себя убитым, говорил Терехин, поблескивая отуманенными глазами:

— Прощай, жизнь! Будет нам с тобой, пожили...

А хорошая жизнь стояла как на ладонке.

Рисовалась пятистенная изба под жестью, будто у Степана Сысцова. Проходили лошади, коровы, овцы, свиньи, пять десятин ярового, пять десятин ржаного. Теплая печка, баба рядом, жирные дымящиеся щи...

— Эх, не поживешь!

Видел Терехин, как не взятые на войну рвали между собой хорошую сытую жизнь, позабыв о нем; в душе поднималась великая злоба. Мысленно плевал он им в глаза, лез на кулаки и, не разжимая плотно стиснутых губ, срамил матершиной.

— Сволочи толстолобые! На чужой счет хотите выехать? Постойте, я вам покажу, только бы домой вернуться...

4

В роте, где служил Терехин, убили Якова Московского. По годам он сверстником был Терехину, только ростом повыше да плечами пошире. Шел он по трудному пути весело, беспечально, с распахнутой грудью. Будто нарочно пытал свою смерть. Падали впереди, позади и по бокам, пронизанные маленькими свистящими пулями, а Яков оставался нетронутым.

Часто в растаявшей кучке маловерных, оробевших красноармейцев с перепуганными лицами только он один не мотался из стороны в сторону, укрепляя недовольных и ропщущих.

И в перекрестных выстрелах, и в отчаянных схватках, бросающих на штыки, и в жерлах расставленных пушек, плюющих через маленькие подвернувшиеся деревни, видел Яков не волю отдельных людей, а волю неизбежного закона. И он, подчиненный этому закону, знал, что борьба за равенство не мало потребует крови. Знал Яков, что человечество, заведенное в тупик, еще не раз принесет огромную жертву, дабы жизнь на земле не была проклятием для замученных нищетой и бесправием. И он, маленькая капля в разгневанном море, борется не за пятистенную избу под жестью, не за собственных лошадей с коровами, а за великую справедливость, которая ведет его по тернистой дороге мимо перепуганных деревень, выглядывающих из сугробов. Та изба, которая представлялась Якову, была и светлее и шире—целая освобожденная жизнь, начатая и выложенная руками трудящихся. Ему не было обидно, что он не попадет в новую избу. Радовался он и тому, что войдут в нее другие, стоящие теперь перед запертыми дверями. Сознание, что он страдает и умрет не за себя, а за других, может быть, и не думающих о нем, укрепляло его, делало бодрым, годным на все...

Терехин часто смотрел на Якова украдкой, через чью-нибудь голову, из-за поднятых плеч, и каждое слово, сказанное Яковом, бережно укладывал в голове. Иногда ему жалко было веселого, спокойного Якова, уходящего на страшное рискованное дело по ночам. Хотелось подойти и сказать:

— Убьют, не ходи!

Но сказать не хватало смелости.

Валяясь на отдыхе, долго бродил он за Яковом мысленно: спускался в овраги, вылезал на бугры, освещенные ущербленным месяцем, ползал на животе по синему, чуть-чуть похрустывающему насту, вздрагивал, прижимался, чутко ловил шорохи. А когда возвращался Яков с разведки, такой же спокойный, с промороженными щеками, Терехин чувствовал, что Яков чем-то подчинил его, притягивает к себе. Спрашивал он, будто шутя:

— Страшно там?

Видел Яков, что Терехин внутренно раздавлен, говорил:

— Если не понимаем теперь, потом поймем: нельзя нам строить новую жизнь в одиночку. Или мы обгоним, или нас оставят позади. По-другому надо...

Для Терехина, прожившего двадцать два года в степной тишине, слова, сказанные Яковом, были нелегкими. А когда Терехин рисовал в будущем хозяйское гнездо, на которое сядет после войны, Яков качал головой.

— Ерунду выдумываешь, брат. Никогда ты не дойдешь до такого блаженства. Будешь бежать, торопиться, жадничать, лаяться с соседями, с женой, ребятишками. Ухватишься за лошадиный хвост и будешь держаться до самой могилы...

Ушел Яков в последний раз в темную буранную ночь на разведку и больше не вернулся. Терехин ждал несколько дней. Ему казалось, что это неправда, и Яков должен вернуться. Отворит дверь неожиданно, скажет:

— Вот и я пришел! Все живы-здоровы?

Яков не шел.

Утро сменялось полднем, полдень — вечером. Наступала длинная, бесконечная ночь. Слышались чьи-то шаги под окнами, щелкал мороз, стукаясь головой в тоненькие стены избушки, где стояли на отдыхе. В душе нарастала тревога. Не стало только Якова, а будто вырезали кусок здорового мяса, полыснули ножом. В голову лезли мысли, оставленные Яковом. Жизнь повертывалась к Терехину то одной, то другой стороной. На одной стороне стояли лошади, пятистенная изба под жестью, как у Степана Сысцова. Висели ременные хомуты, намазанные дегтем, поперечники, дуги, седелки. Зрели, наливаясь крупным колосом, собственные десятины, насыщающие голодное сердце. А на другой стороне стоял Степан Сысцов с мягкой расчесанной бородой, весело играл голубыми глазами и потихонечку, но без остановки двигался на засеянную Терехиным яровину, теснил, нажимал, отсовывал в сторону.

Открывая глаза, видел Терехин около себя спящих, похрапывающих чуваш с голыми пятками, молодых татарчат с круглыми обросшими головами. Видел сложенные в углу седла,

чайники, мешки, развешенные портянки с чулками — в сердце наливалась обида. Представлял себе спящую деревню, уложенную на полу, на кирпичах, на кроватях, сердился: на себя ли самого, на этих ли вот чуваш с татарчатами, плачущих, бормочущих во сне, или на тех, кто остался в деревне. Нарастало недовольство ко всей жизни, в которой он путался двадцать два года. И если жизнь эта опять повернется назад? Если затрут его, отсунут, обсчитают более ловкие? Смирные глаза у Терехина начинали тогда искриться, ущемленное сердце кричало:

— Нет, нельзя!

Видел он перед собой не Степана Сысцова с мягкой расчесанной бородой, не отдельного человека, которого знал с самого детства, а сотню, целую тысячу таких же Степанов, протягивающих длинные, несытые руки. Рано или поздно — все равно расклюют они и пятистенную избу, которую строит он мысленно, и новую неокрепшую жизнь, из-за которой убили Якова.

Не давали спать мысли, посеянные Яковом, а минутами и сам Яков будто подходил к нему.

— Думаешь? Думай, думай. Много надо думать тебе. Сырой ты, необработанный. Темнота заела вас, жадность...

Вглядываясь в прошлое, видел Терехин эту темноту и в себе и в своем отце, ворующем ржавые гвозди. Все они пораженные, робкие, завистливые. Каждый старается обмануть друг друга, растолстеть в одиночку. Только Яков никогда не заглядывал в свою сумочку и, уходя из жизни, оставил после себя лишь несколько тоненьких книжек в запертом сундуке, да хорошую, спокойную улыбку. И чем больше думал Терехин, тем меньше было тоскливого чувства, подкашивающего ноги. Увидел он и свои двадцать два года, и свою нищету, и собачью погоню за хорошим житьем, понял: если гнаться и дальше за этим житьем попрежнему в одиночку — никогда не догонишь его. Понял и то, что не было сказано Яковом, но подошло и раскрылось само. А подошла и раскрылась перед ним великая, тяжелая истина: ему, как и Якову, придется умереть за других. Не за себя только, не за свой пятистенок, а за светлую просторную избу для всех; и для этих чуваш с татарчатами, если

уцелеют они в боях, и для тех, кто остался в деревне, кого знает и не знает он, но кто пойдет вслед за ним по непройденной, рано оборвавшейся дороге.

От сознания, что это будет так, а не иначе, сердце у Терехина обволакивалось плачущей грустью. Горько и обидно было, что умереть все-таки должен он, а не другие. Он еще не жил, и ему хочется жить... Жалко и морозных ночей с похрустывающим снежком под ногами, и дымное завьюженное поле с редкими вехами узких проселков. Но в эти минуты к нему подходил Яков, погибший за других, поддерживал спокойной улыбкой:

— Нельзя по-другому, товарищ, пойми!

А в уши шептал знакомый пугающий голос:

— На кого идешь? Подумай! На братьев своих идешь...

Терехин упрямо мотал головой.

Видел он не мужиков, темных, слепых и покорных, выставленных против него, а другие лица, другие глаза, выглядывающие из-за мужицких плеч... Видел врагов, невиданных раньше. Они убили мужицкими руками и бескорыстного Якова. Они держали и их с отцом в грязной телячьей избенке. Они и воровать заставили отца, щелкать зубами по-звериному...

Ночь была темная.

Поднималась метель.

За околицей, в степи крутило воронкой. Снег набивался в уши, глаза, таял, замерзал на губах. Терехин шел, сжимая винтовку, и мысленно говорил Якову, ободряющему спокойной улыбкой:

— Иду!

Я ХОЧУ ЖИТЬ

Мы на отдыхе в степной деревушке.

Я сижу на завалинке, глажу по спине большую лохматую собаку. Она шершавая, некрасивая, но длинная шерсть на спине у нее выгрета солнцем, и мне приятно посидеть вот так, слегка наклонившись над ней.

С крыши на плечо падают редкие капли, на задворках порывисто вскрикивают гуси.

Ржет жеребенок тонким голосом, клохчут куры.

Перед окнами стоят отпряженные пушки, вытянув стальные холодные шеи.

Потные лошади в седлах журкают сено.

Я сижу, подставив голову под апрельское солнце, смотрю на разорванную паутину голубеющих облаков, плывущих над талой, почерневшей землей. Уши мои не оглохли от пушечных выстрелов: слышу, как порывисто вскрикивают гуси, весело клохчут курчошки, тихо-осторожно падают на плечо ко мне редкие, бесшумные капли...

— Это — моя походная весна.

Может быть, последняя.

Вслушиваюсь в шорохи, в крики, встречающие молодую апрельскую весну — сердце волнуется.

Дома у меня — жена и двое детей. Маленькая комнатка в нижнем этаже, чуткие настороженные уши, хватающие поздние шаги на лестнице. Там ждут меня.

Может быть, схоронили давно.

Посматривая на ручеек под ногами, на воробьев, прыгающих у лафетов, вижу сына Сережку с бледными малокровными щеками и трехлетнюю Нюшку с голубенькой ленточкой в золотых перепутанных волосах. Они сидят на подоконнике,

прижавшись друг к другу, смотрят сквозь талые окна. Ищут меня среди прохожих, ждут, когда я приду, посажу на колени. И две опечаленных мордочки наливают мне сердце отцовской горечью.

Достаю письмо из кармана, старое, давно прочитанное, присланное из дому.

Жена утешает меня:

— Я не плачу. Крепись и ты...

А когда уходил, она говорила:

— Зачем ты идешь добровольно? Разве тебе надоела жизнь?

Я боялся, что жена не поймет моей любви к жизни, и осторожно ответил:

— Я должен итти и пойду... вот за них, за ребятишек.

По щекам у жены покатились слезы.

Были в них горе, любовь и страдание, а ноги мои не дрожали.

Теперь жена ободряет меня.

— Не бойся за нас: я терпеливая—все вынесу...

Дальше—письмо от Сережки.

Он не умеет писать буквами, наставил мне палочек, хвостиков, крючков, завитушек и маленький растопыренный кустик без листьев. Внизу пояснение от матери:

— Понимай, как хочешь...

Я понимаю Сережкины буквы.

Первый раз я прочел письмо в походе, когда шли в наступленье, и эти палочки с хвостиками посмотрели на меня светлыми укрепляющими глазами. Я поцеловал их украдкой, чтобы не посмеялись товарищи, и, пощупав винтовку, сказал:

— Иди, отец!

Я и теперь думаю так.

Я иду умирать не от скуки, не от старости и не оттого, что надоела мне жизнь. Я очень хочу жить. Волнуют меня и эта вот ширь весенняя, и утренние и вечерние зори в затишье, и дальний полет журавлей, и лепет ручьев по овражкам. Я любовно обнимаю взглядом каждое облачко, каждый кустик и все-таки иду умирать... Иду навстречу смерти спокойно и твердо. Она летит ко мне в тяжелых артиллерийских снарядах, взрывающих талую, почерневшую землю, и в частых винтовочных выстрелах, вспыхивающих синим дымком. Я вижу ее,

выглядывающую из-под каждого бугорка, одетого сумраком вечера, и все-таки иду не мотаясь.

Я иду умирать оттого, что хочу жить.

Я не знаю, как это сказать проще, другими словами, но, окруженный хохочущей смертью, не чувствую на себе холодных хватающих рук. Нет во мне ни страха, ни тоски, ни расслабленности. Не останавливают и глаза моих ребятишек. Вижу я их не заплаканными, а светлыми, улыбающимися, согретыми детской радостью, и мне очень тяжело представить светлые, улыбающиеся глаза такими же огорченными, какими были мои в далекое детство. Я не знаю, сколько слез выплакали мои глаза, не помню, чьи руки хватали меня за длинные волосы. Одно помню и знаю: глаза мои были невеселые, старые. Они не умели смеяться, не загорались и огнем детского веселья, не видели солнца, которое радует теперь.

Когда я родился, светлые просторные комнаты были заняты другими, „счастливыми", и нам с матерью достался сырой подвальный угол. Мать была прачка. Первое, что я увидел в углу у себя начинающими понимать глазами,— это мокрые штаны и рубахи, развешенные на веревках. Солнышко видел редко. Редко оно заглядывало к нам узкими преломленными лучами через железные переплеты в двух окнах. Отца совсем не видал.

Может быть, это был подвальный сапожник.

Может быть, тихий богобоязненный старичок из купцов, зажигающий вечернюю лампу.

А может быть, пьяный угрястый чиновник...

Мать пила.

В угол к ней по ночам приходили солдаты, крючники, ломовые извозчики в разорванных рубахах, бродяги, карманники. Иногда били ее, как бьют обессиленную лошадь, иногда напаивали до потери сознания и тупо, бессмысленно валили на кровать, не стесняясь меня...

Мы были „несчастные".

Мать так и говорила мне:

— „Несчастные" мы с тобой, Васька. Умри... сынок!

Но я не умер.

Я пошел по людям.

Не было у меня ни любви, ни ласки, ни теплого взгляда. Так и рос по-щенячьи: ударят—поплачу, погладят—улыбнусь. Я не знал тогда, почему мы—несчастные, а другие—счастливые, часто смотрел старыми, невеселыми глазами в глубокое, высокое небо. Мне говорили, что там сидит добрый боженька, устраивающий жизнь людям. Стóит попросить его, и он поможет. Мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь устроил нашу жизнь, и я молитвенно смотрел в глубокое, высокое небо.

Боженька не отвечал.

Боженька не видел моих заплаканных глаз.

Учила меня сама жизнь. Она раскрыла передо мной такие непреложные истины, что, поняв и осмыслив их, я уже перестал молиться. Ясно стало мне, что мы с матерью не зря посажены в подвальный угол и не волей отдельного человека, а волей тех, кто занял вверху над нами светлые просторные комнаты, освещенные солнцем и огнем электричества. Волей целого класса людей, ради которого тысячи других людей должны по-звериному пачкаться в слякоти темных подвальных углов...

Понял я и мать, которую били по зубам, и ту роковую причину, которая заставляла ее ложиться с „дружками" при мне. В трезвых глазах у нее я видел такую глубокую скорбь, такую хорошую материнскую улыбку, что сердце мое наливалось любовью и жалостью к ней. Но оттого, что она была молода и красива—нищета и бесправье повели ее на улицу, под негреющий свет фонарей, и впоследствии она, избитая „дружками", не раз проклинала и себя, и жизнь, и молодость..

Многое я понял.

А самое главное—вот что понял я: живу я в этом мире, богатом красотой и роскошью, не как хозяин, а как наемник, как здоровый, услужливый пес, подбирающий крошки. Я начал работать с семи лет, работаю ежедневно и все-таки я нищий, помойный отброс. Жизнь моя устроена так скверно и обидно, что если у меня ослабнут руки и не выдержит надорванная грудь, меня за негодностью выбросят, как сор из избы. Я, вырабатывающий ценности, совершенно не имею никакой ценности как человек, и те хозяева, которые распоряжаются моими рабочими мускулами, опозорят и меня, прикованного к постели, и детей моих, выгнанных на городскую бездушную улицу...

И теперь вот, когда я с улыбкой смотрю на Сережкины палочки с хвостиками, моя любовь к нему, не мотая, ведет меня под ружьем. Моя любовь к опозоренной матери укрепляет усталые ноги. Мне страшно представить Сережку таким же щенком, каким был и я, таким же наемником, продающим здоровые мускулы рук. Страшно подумать и о маленькой Нюське с голубенькой ленточкой в золотых перепутанных волосах.

При одной мысли, что дочь моя, вместо светлой улыбки, скривит, перекусит тонкие, побледневшие губы и, совестливо потупив глаза, неверными шагами выйдет вечером под негреющий свет фонарей; при одной мысли, что ее, рожденную в подвальном этаже, поведет за собой похотливый взгляд пресыщенного бездельника, при одной мысли об этом—сердце мое разрывается... Не вижу я винтовок, выставленных против меня, не слышу, как рвутся снаряды. Я стискиваю зубы, падаю, ползу, снова вскакиваю, бросаюсь вперед. Нет смерти! Нет вешнего убаюкивающего солнца!.. Полон молодости, неудержимого порыва, слышу я не весенний голос природы, а голос своей матери.

— Иди, сынок, иди!

Только одно я чувствую: Я хочу жить! А для этого я должен отстрелять солнечные весенние дни для себя, для Сережки с Нюськой и для тех, кто не видит их старыми проплаканными глазами.

У меня прострелена одна рука, но это не последняя жертва. Мне придется или совсем лечь на талых просыхающих полях, или вернуться домой победителем.

Другого пути нет.

А я хочу жить.

Хочу, чтобы жили и радовались Сережка с Нюськой, чтобы жил и радовался весь наш квартал, выгнанный „верхними“ людьми на помойки...

И оттого, что я хочу жить, оттого, что нет иного пути сделать все это и проще и легче,—любовь моя к жизни ведет меня в бой.

Долог мой путь.

Не один раз встретят меня утренние и вечерние зори в степях, но грусть моя светлая, укрепляющая...

Это—мой путь.

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ

1

Весной появились мешечники. Шли с полустанка партиями и в одиночку. Узенькие, чуть-чуть позеленевшие проселки, уходящие в степь, с утра до вечера утаптывались широкими лаптями.

Прохор Иваныч открыл под сараем торговлю. Выставил козлы около конюшни, словно на площади в базарном селе, укрепил на них коромысло с деревянными чашками. Сын Гаврила отвозил пшеницу на мельницу, а Прохор Иваныч, выбеленный пшеничной мукой, стоял около раскрытого полога. Опасливо глядел на ворота, на коромысную стрелку, чтобы не провесить, жаловался, божился, показывал согнутым пальцем на небо. Руки вздрагивали, тряслись, забирая бумажки. Пьяные, разгоревшиеся глаза бегали из стороны в сторону.

В городе сорок рублей расценивались в сорок копеек, а в Уклонове сохраняли пока прежнюю цену. У кого имелся „хлебишко", смотрели на обилие бумажных денег как на источник богатства.

Иван Гаврилыч долго не знал, что делать. Хлеба было немного, но тоже хотелось разбогатеть. Случай подходящий. Продать несколько пудов — из бедного человека превратишься в богача, ворочающего „тыщами". Думал-думал — благословился.

— Что будет.

Начал заманивать вятских, московских, владимирских, тамбовских с длинными мешками. Целую неделю водил через задние ворота по узенькой тропке, густо посыпанной вальцовочной пылью. Когда заглянул в кожаный кисет из бараньей мошонки — облизал склеившиеся губы.

— Ого!

Не знал, сколько денег в кисете, пересчитать не решался, чтобы не попасться кому на глаза. От нетерпенья начал качаться как маятник. Выходил в сени, шатался по двору, снова шел в избу. Точно хворый ложился на печку. Иногда казалось — денег более трех тысяч. Иногда — наоборот: до трех еще не дошло. Непроверенная цифра то вырастала в огромную, то превращалась вдруг в маленькую. Никак не мог поймать ее Иван Гаврилыч. Лежал на печи, упершись глазами в потолок, накладывал сотню на сотню.

Под окошком кричали:

— Нет ли скотины продажной?

Выкрики хлестали словно прутом по голому месту. Быстро соскакивал на пол, бежал за ворота. Продал однажды бычка за семьсот — сосед через два дня продал такого бычка за девятьсот. Чуть с ума не сошел Иван Гаврилыч. Ясно, — бычок стоил не этих денег. Девятьсот, полученные соседом, кололи, как девятьсот булавок. На глаза с горя попалась овчишка. Ягнилась редко, ягнята почему-то не жили.

— Продам и ее, шут с ней!

Опять не знал, сколько запросить, чтобы не влопаться. Отыскивая цифру, сказал наобум:

— Дашь двести сорок?

Думал, очень много, обругает его барышник. Барышник только по рукам похлопал. Через три дня Егор Епифанов продал барана-однолетка за триста пятьдесят.

Иван Гаврилыч расстроился. От досады, что ничего не выходит, начал продавать молоко, яйца. Продал двух кур, трехмесячного поросенка, петуха с обмороженным гребнем, полпуда семенного гороху.

Баба говорила сердито:

— Ты что, мужик, али белены объелся?

— Ладно, не барыня, посидишь всухомятку.

Быстро скачущие цены ставили втупик. Не знал, до какой степени могут подняться овцы с ягнятами. Боялся, денег совсем не останется, растащут другие. Прыгающие сороковки с двадцатками делали слабым, безвольным.

— Накладу пять тыщ, брошу.

Ушел на гумно в колосницу, калиточку припер вилами. Сел за солому, прислушиваясь к галочьему гомону на крыше, осторожно распоясал кожаный гаманок. Посидел, вытянув шею, пощурился. От волненья дрожали пальцы. Разложил бумажки кучками: сотни с сотнями, сороковки с сороковками. Насчитал шесть тысяч семьсот. Стал пересчитывать — насчитал семь тысяч шестьсот.

Испугался от радости. Пересчитал в третий раз. Что такое? Семь тысяч двести. Поплевал на два пальца — верно: семь тысяч шестьсот. Вздохнул облегченно. Ничего не видел, кроме новенькой пятисотенной, приятно щекочущей ноздри запахом краски. Обнюхивал ее, как кусок пирога. Не верилось, что денег семь тысяч шестьсот. Желал только пять, получилось семь. Цифра семь тысяч шестьсот — длинная, с довеском из сотен. Округлилась другая цифра: десять тысяч. Пожевал губами, подумал:

— Доложу, немного осталось.

После этого не спалось, сны виделись нехорошие. За карман кто-то ловит и пальцем показывает.

— Вот этот самый семь тыщ наклал.

Не было аппетиту во время еды.

Сидел за столом, облизывал ложку.

— Куда спрятать деньги?

В кармане — боязно. В сундук положить — баба проболтает.

Целых два дня крякал, таская камень на душе, на третий к вечеру — уложил бумажки в черепок. Вырыл ямку на погребе, черепок закопал. Рано утром и поздно вечером присаживался около зарытых бумажек, тыкал тоненьким деревянным копьем, пробуя — тут ли. Десять тысяч, как воробьи под застрехой, сидели в голове, распирали виски. Лезла новая изба под жестью, хорошая породистая матка заводских кровей. Ржал жеребенок под самым ухом, мерещился казанский тарантас с окованной плетушкой. Минутами хозяйский клубок превращался в целое стадо бумажек, летающих перед глазами. Уже не хотелось ни избы, ни лошади. Сидеть бы вот так над бумажками, щупать, обнюхивать, время от времени пересчитывать.

В пятницу случилась оказия.

Зашел в полдень Иван Гаврилыч на погребицу — обомлел. Свинья — чортова скотинка — роет носом на том месте, где зарыт черепок с деньгами. Бросился на нее, припер в угол. Хотел кулаком по уху ударить, свинья перепугалась. Фыркнула, махнула через Ивана Гаврилыча, подмяла под себя. Не видя дороги, грохнулась в погребную яму.

Пришлось созывать соседей с веревками, тащить свинью с припевами. Она супоросая была, выкинула девять поросят. Видел Иван Гаврилыч не девять поросят, а девятьсот рублей, вытащенных свиньей из кармана. Ругался.

— Эх, чорт, дурак! Разве можно супоросую свинью гонять? Докладывай теперь.

Черепок на погребице вырыл, деньги передал жене.

— Семь тыщ вот тут. На!

Жена удивилась.

— Когда столько наклал?

— Брось дурацкую привычку языком вертеть! Ежели будешь бабам рассказывать, так и закачу по морде.

— Что уж ты, мужик, за глупенькую считаешь меня?

— Знаю я вас, болтушки!

2

В апреле стояло бездождье. На полях крутились вихри. Кузьма Марьяшин, церковный человек, указывал приметы: голод будет. Никифор Киреев попугивал беженцами.

— Пригонят человек двадцать — съедят они нас.

Захар Крылышкин, неимущий, грозно покрикивал:

— Скоро эту лавочку закроем?

— Какую?

— А вот эту самую шпикуляцию. Терпенья нет!

— Тебе чего много надо?

— Как чего надо? В Пензу, что ли, поедем за хлебом? Смотрите! Сядем на кукан. Обязательно засыпку надо сделать в магазин.

Иван Гаврилыч спросил:

— С кого ссыпать?

— Найдется.

— Что-то не видно.

— Ты вот дашь двадцать пудов! Сколько денег наклал?

Словно камнем по лбу ударили Ивана Гаврилыча. Загорелся, налетел на Захара.

— Ты у меня не считай, я один пересчитаю.

— Мы тебе пересчитаем.

— Что, в амбар залезешь? Кум Михайла, будь свидетелем.

Подраться не дали. Помахали кулаками под носом друг у друга, разошлись. Иван Гаврилыч жаловался:

— Вот какие люди! Сами себя едим. Ты, говорит, денег наклал. Ворочается язык, прости господи.

Одеваться начал в старую заплатанную рубаху, подпоясанную ремешком, в штаны с потертыми коленками. Онучки на ногах перевязал веревочками. В покрасневших глазах все время дрожал тревожный нащупывающий огонек. Не был он богатым. Две лошади, корова с подтелком, свинья, шесть овец. А по бумажкам, которые наклал, считал себя очень богатым. Невольно тянуло к зажиточным, к Прохору Иванычу. И перейти туда боялся: вдруг да обкладывать будут? В душе росло нетерпенье. Хотелось доложить поскорей недоложенное, кончить. Тут словно из-под земли вырастала Захарова компания. Грозила, становилась поперек дороги. Богатых ставили за черту. Собираясь между собой, они смотрели под ноги, как в глубокий темный колодец, положив на грудь всклокоченные бороды. Ждали „хлебную“ комиссию из волостного совета. Гриня кособокий по ночам дежурил с дубинкою около околицы, ловил спекулянтов.

Перед Иваном Гаврилычем поставили точку. Страшно было перешагнуть, думал:

— Ладно, кабы не ошибиться.

Когда увидал огонек на дворе у Прохора Иваныча, приготовившего два воза в Микулино, расстроился.

— Жадный какой, окаянный! Готов подавиться.

Ходил по соседям, жаловался:

— Прохор-то... Опять накачал...

На следующую ночь и сам насыпал тихонько мешок. Положил под сиденье в телегу, сверху соломкой затрусил, чтобы

не видно было. Утром, на зорьке, через гумна, объезжая околицу, погнал в Микулино. Дорогой высчитывал:

— Продам четыре пуда по восемьдесят пять — сколько будет?

Деньги зацепили арканом за шею, вели за собой, как смирного послушного жеребенка. Продать по восемьдесят пять не пришлось. Встретили два красноармейца около Микулинской околицы, ущупали вальцовку в соломе.

— Куда везешь?

— Я?

— Да, да, ты.

Голос у Иван Гаврилыча задрожал.

— Племяннику я в Микулино. Племянник там у меня, Гаврилой звать.

— Родной, что ли?

— Сестрин.

— Ну, айда, ежели сестрин, мы проводим.

Сел один рядом, уперся винтовкой в передок.

— Правь!

Иван Гаврилыч хотел повернуть направо, красноармеец повернул налево.

— Держи к совету!

— Товарищ, постой!

— Ладно, после поговорим.

— Нет, ты, можа, думашь, тово, как ее?

— Ничего я не думаю. Держи к совету.

Целый день продержали в Микулинском совете. Очень уж народу много сгрудилось. У крыльца стояли отпряженные лошади, как у больницы. На телегах сидели бабы с ребятами, в оглоблях свернулись собаки. Пойманные толпились на крыльце, в коридоре. На допрос шли по очереди; выходили красными, пропотевшими, с перепутанными мыслями в голове. Тыкали лошадей по губам, кричали на баб, крякали, ругались. Симон Кудряшов сердито плевался:

— Хороши порядочки. Свой хлеб нельзя продавать.

Тихон Растопыровский приехал на тарантасе. Взнуздывая крутозадого мерина, долбил, словно дятел, в распущенную бороду:

— Вот тебе и свобода! На крючок повесить хотят. Не шевелись.

Домой Иван Гаврилыч вернулся как после тяжкой болезни. Осунулся, почернел и так возненавидел свободу — говорить спокойно не мог. В уши кто-то шептал:

— Не наложишь ты десять тысяч! Не дадут.

Захарова компания смеялась:

— Попал баран в репейник!

3

В мае приехали беженцы гродненские. Привезли плачущего козленка, привязанного на веревочку, старика в белом кафтане с вышитой грудью, трех кур с перевязанными крыльями, желтого большеглазого петуха.

Никифор Киреев ударил себя по бедрам.

— Съедят, истинный господь!

Ночью Иван Гаврилыч вычерпал пшеницу из амбара. Один мешок сунул в колосницу под солому, другой — в картофельную яму, третий — в навозную кучу.

Было собрание около пожарного сарая. Сошлись хлебодержатели, ожидающие битвы, налетела беднота, готовая вспыхнуть. Рядом с председателем укрепились солдаты, пришедшие с фронта, за солдатами выстроились тыловые: Захар-предводитель, Ермолай Сапунков, Кузьма Михалкин, два брата Миколашиных, бутырские завражные — целый взвод. Председатель начал речь, кончить ему не дали. Стоявшие молча сдвинулись, закрутились. Над головами заплескали негодующие голоса. Павел Антонов кричал:

— Стойте, я скажу!

Рыжий Большаков в бараньей шапке заглушал Антонова.

— А, вы раздеть хотите нас? Дешевого хлеба вам надо? По три двадцать? На-те, разденьте!

Расстегивал пиджак, колотил кулаком в грудь.

— Снимите последнюю рубаху!

Захарова компания налетела с кулаками.

— Две на тебе!

— Не надейтесь на мой хлеб! В амбар я к себе все равно не пущу. Вилами сброшу, истинный господы!

На Большакова наскакивал сам Захар.

— Не грози! Кто брюхо припас?

Сапунков, словно окунь, просовывал всклокоченную бороду в передние ряды, настойчиво спрашивал Большакова:

— Слушай, Серега, постой! Значит, ты не дашь мне хлеба? Зако-он! Хорошо вы придумали, ловко.

Кузьма Марьяшин говорил по евангелию:

— Восстанет брат на брата — вот оно и подходит. Гляди, как собачимся.

Быстренький солдат кричал на Кузьму:

— Откуси язык, книжник! Запоешь и не это, как в угол прижмут. Где у меня рука левая? А вы дома сидели да в евангелью глядели. Черти!

Захарова компания вынесла постановление — оштрафовать в пользу неимущих — кто продавал пшеницу. Иван Гаврилыч попал в число штрафованных. Выскочил из толпы как ужаленный, беспомощно завертел бороденкой.

— Товарищи! Микита Иваныч, неужто я богаче других?

Начали расходиться, а он стоял около пожарной бочки, божился, ругался, обиженно говорил Марьяшину-старику:

— Слушай, дядя Кузьма! Разве это правильно?

— Бают, богатый ты стал. Деньгу накопил.

— Страсть богатый! Милльенщик. Кто это болтает — не знай?

— Баба твоя слушок пускает.

— Ах, нечистая сила!

Вернулся домой, встретил бабу в сенях. Сказать что-то хотела ему. Сначала Иван Гаврилыч ткнул по зубам ее, потом развернулся с левой.

— Будешь?

4

Еще одно несчастье ударило через неделю. Племянник к Трохиным приехал из города, начал рассказывать. Очень уж фальшивых денег много появилось. Кто знает, тому легко

отличить. У правильной сороковки на лицевой стороне колечки, перехваченные ободком от орла, должны быть неполными. У неправильной — полными. Или по точкам еще. Если нет точки после подписи на обороте, значит—фальшивая.

Ивана Гаврилыча начало толкать из стороны в сторону. Вытащил утром кисет из сундука, захватил в поле. В полдень разложился под телегой. Выглядывая из-за колеса, прикрытого пологом, стал разглядывать сороковки с двадцатками.

— Зарежут, мошенники!

Путаясь глазами в колечках, бродил по ним, как по темному лесу, потерявши дорогу. Дышать было трудно. Вытащил сороковку без точки. Вытащил еще одну — тоже без точки. Штук десять перетаскал заплясавшими пальцами — точки не попадались. Потом сразу появилось несколько тысяч. Ухватились одна за другую и пошли вокруг Ивана Гаврилыча целым хороводом, высовывая тоненькие насмешливые языки.

Смотрел он на выпавшие бумажки, опустив растопыренные руки, бессвязно шептал:

— Зарезали, сукины дети!

В ГЛУШИ

ОЧЕРКИ

1. 70 верст штрафу

Теплое апрельское утро. Дорога в гору. Едем молча. Лошаденка у Кузьмы Иваныча неважная: гнется, спотыкается и часто пофыркивает. Изредка Кузьма Иваныч разговаривает с ней.

— Вот ду-ра... Встает... Но!..

Его позывает еще что-то сказать. Он то заглядывает вперед, то оборачивается назад, обмеривает меня маленькими прищуренными глазами, утонувшими в бровях и морщинках, и вертится на своем сиденье, словно на горячей подложенной сковородке. А когда отъезжаем версты на две от околицы, Кузьма Иваныч неожиданно ставит вопрос:

— Значит, из города вы?

— Да, из города...

— Та-ак...

На этом мы и кончаем пока. Но это не все. За щекой у Кузьмы Иваныча еще кое-что припрятано, только вытащить не решается. Смотрит мне на ноги, на руки и осторожно подходит к главному.

— Ну, как у вас там?.. Дела-то...

— Где?

— Да в городе-то...

— В городе делов много...

Молчание.

— Табаку-то дают?..

Хитрый.

— А вы как тут?..—спрашиваю я.

— Живем!..—отшучивается Кузьма Иваныч.—Перекатываемся с боку на бок...

— А что?

— Да оно бы ничего... ежели бы... На старинку похоже...

— Как на старинку?..

— Очень просто... Мошенство пошло.—В голосе у Кузьмы Иваныча чувствуется обида. Он рассказывает что-то про ситец, но и разговоры про ситец—не главное. Это просто-напросто—кривая дорожка, по которой ведет меня в самую гущу, чтобы показать наболевшее место.—Само главное—в людях... Люди нехорошие есть... Развелись они по деревням и обижают крестьянский народ. Выдают себя за „коммунистов", за „большевиков" и за больших советских начальников, с которыми нельзя разговаривать... „Шуба"-то у них овечья, а в нутре-то волчок сидит... зубы показывает...—Я вам случай один... хотите?—спрашивает Кузьма Иваныч.

Он снимает рукавицы с рук и кладет их рядом. Потом завертывает вожжи на наклеску, кашляет, обдумывает и, поворачиваясь ко мне, говорит...

— Ну, вот слушайте... Приезжают к нам двое и говорят: „Анжинеры—мы".—По каким делам?—„Чугунку строить. Лошадей нам немедленно". Сейчас—к председателю. Тот за десятником, десятник ко мне: „Вези, Кузьма, твой черед"... Ну, што же? Мой, так мой... Я не отказываюсь... Запряг пару „ребер", подвязал хвосты, все честь-честью... Соломки набросал в сиденье, дерюжку разостлал. Подъезжаю.—Здрасти, товарищи!—„Здрасти".—Вам ехать?—„Нам".—До каких пор?—„До Лебяжьего".—А кто, говорю, вы такие?—„Мы, говорит, советские работники... Коммунисты"...—Та-ак, очень приятна. А бумажечка у вас имеется?—„Какая?"—А вот эта... мандат-то ваш... для права проезда...—Поглядел на меня один из них, глазастый эдакий, да и говорит: „Мандат тебе?"...—Да, говорю, покажите...—А он опять давит меня глазищами... „Показал тебе? Ну, ладно, я тебе покажу... Лезь на козлы!"... А меня сумленье берет. Кто их знает? Можа, они платить должны... с версты... Поглядел я тоже вот эдак на него и говорю: —Не больно шибко, товарищ, нынче—свобода.—А он ко мне: „Што-о?... Свобода?.." Председатель мигает мне: „Лезь,

Кузьма, отвяжись". Махнул я рукой, поехали. Вот дорогой они и говорят между собой: „Нахал какой!" А я в ответ им:—Извините, товарищи, я не нахал. Я на правилах стою.— „Помалкивай"... А я опять напротив... Довез их до Лебяжьего, спрашиваю:—Куда заезжать?..—А этот, глазастый-то: „Никуда не заезжать, до Черновки вези нас"... Эге, думаю, до Черновки... На 20 верст еще махнули... Здорово!.. Заявляю:—До Черновки я вас не повезу... Мой черед до Лебяжьего...—„Нет, повезешь!"—Нет, не повезу... „А мы заставим".—Не имеете права...—„Ах, права тебе?.. А ты знаешь, с кем разговариваешь? А? Знаешь, что я могу оштрафовать тебя еще на 70 верст за твои разговоры?.. Сабатажник!.." И начал дотрагиваться до пистолета... Ну, думаю, трахнет... Спасибо другому, который в очках был. Уговаривает его: „Брось, слышь, Владимир, чего ты с дураком связался?.." Обидно мне, а язык не высовываю... Боюсь!..

Кузьме Иванычу становится легче. Посматривая на меня, он улыбается, шевеля усами.

— Ну, как вот по-вашему, правильно?..

И когда я подтверждаю, что это неправильно, он с горечью говорит:

— А ведь „коммунисты"... Товарищи...

— Разве это коммунисты?—спрашиваю я.

— А кто же?

— Так, барахло... налепились на советское дерево и сидят...

Кузьма Иваныч даже подпрыгивает от радости. И хотя мы едем степью, „подслушивать" некому, но он все-таки оглядывается и понижает голос до шопота.

— А ведь житья от них нет... От эдаких-то... Истинный господь... Так и клюют, так и клюют нашего брата...

— Нарошно разжигают... Вот недавно еще случай был...

Случаев у Кузьмы Иваныча много. Наклал он их за пазуху и показывает по-одному.

Тут и про комиссара, пугающего расстрелами, и про бывшего урядника Павла Михалыча, хватающего бедняков за бороды от имени советской власти...

— Им што? — говорит Кузьма Иваныч, запрокидывая шапку. — Языком-то они за советску власть, а на делах-то

в грязь втаптывают ее... Мы ведь видим... Ну, богачи и подхватывают: „Вот вам и советска власть!“ Станут подсовывать с разных сторон, а мы как порох. Ткни нас горяченьким, сейчас и задымим... А все оттого: погляди к нам в деревню—увидишь... Крыша-то у нас новая, а под крышей-то старое... Говорят нам: „Держитесь, ребята, за советску власть—хорошая!..“ Мы-то держимся... Видим, што она хорошая... Добра нам хочет... А придет какой-нибудь стрикулист да станет показывать „норов“—руки-то у нас и разжимаются... А скажешь эдак: „Товарищ, неправильно. Советска власть не велит так делать“... Сейчас тебя в „контру“. „А-а, ты, говорит, противник?.. Ты, говорит, народ мутишь?..“ И—пойдет... И—пойдет... Контрибуцию вот у нас собирали. С богатого—сотню, с бедного—две... Стал я говорить, меня и пришпилили... А все кулачки работают... Набились везде, как мухи в трещину, и сидят.

Через минуту Кузьма Иваныч спрашивает:

— Притчу знати?

— Какую?

— А вот про пшеницу-то... Насеял человек пшеницы, а ночью пришел другой и насеял не знай чего... Плевелов... Это больно подходит теперь... Как же? Теперь всякая трава полезла наружу, а из-за нее и пшеницы не видать... У нас вот как бывает. Ежели глохнут посевы от лебеды, идут бабы на поле и дергают ее... Не мешай!..

Кузьма Иваныч ждет моего ответа.

— Уже дергают!..—говорю я.

— Дергают?

— Да, да... Начинают... Уже не одного комиссара выдернули, заглушающего советскую „пшеницу“. Не мало и председателей пошло вслед за ними...

— Это хорошо!..—возбуждается Кузьма Иваныч.—Давно бы пора... А то уж больно много нечисти развелось... Назовет себя какой-нибудь коммунистом и безобразничает... Вот у нас шпикулянт приехал из Саратова... Все знам, что это за фрухта,—наш он, сельский,—а поделать ничего не можем... Ну, и орудоват... Набиват карман...

Кузьма Иваныч увлекается и рассказывает мне про саратовского фрухта, а я думаю о советской „пшенице“, посеянной в черноземных степях.

— Она взойдет...

— Плевелы не заглушат ее...

2. Ачейка

Поздно. Уже кричат петухи по деревне. Скоро будет утро, но мы с Кондратием засиделись. Беседуем. Я лежу на лавке в избе у него, а он с расстегнутым воротом у рубашки сидит за столом напротив, выставив босые ноги. В деревне у них, как он рассказывает, происходит какая-то путаница, а помочь разобраться некому. Ну, и мучаются... Мужики теперь пошли любопытные, до всего допытываются, во все хотят пролезть „своими глазами“, чтобы не ошибиться. Но на глазах у них все еще висит старая пеленка, закрывающая свет, и идут они по новой дороге ощупью, озираются, становятся в сторону. Советскую власть называют „бедняцкой“, больно хорошей, но оговариваются:

— Репьев много набилось... Могуты нет!..

И странно: где ни послушаешь, везде говорят одно:

— За советскую власть мы горой... Хорошая она, ежели бы вот не эти... Разные-то...

И начинают рассказывать про разных „советских“ нахлебников, марающих рабоче-крестьянскую власть на местах.

— И-и, милый человек!—говорит Кондратий удивительно простым, задушевным голосом.—Мы ли больно темные, или не объясняют нам по-настоящему, как следоват,—ну, только лес какой-то у нас... Ничего не разберешь!.. Толкают, трясут, а укрепить на правильную точку некому... Ну, и плывем в разброд... Ачейка вот у нас недавно объявилась...

— Ачейка?.. Какая ачейка?..

— Вот и беда-то—никто не знат, какая. Приехал приседатель из волости, созвал нас всех на собранью да и говорит: „В ачейку пойдете, товарищи!..“ — В какую? — „Там узнати“... Ну, народ, конешно, того... Переглядыватся,

жиблится[1]... А приседатель-то у нас „контра“. Нацелился он в ту-поры на Аксена Безрукова да сразу и ошарашил его:

— Какой партии?

— Я—беспартийный...

— А в ачейку жалашь?

— Кто-знат... Как мир...

— А-а, ты за миром укрыться хочешь?..

Вызывают Бирюкова.

— А ты, Бирюк... согласен?

— Ежели согласна вся общества, и я согласен, а один не пойду...

— А ежели по закону ты должен итти?

— Воля ваша... Куды хошь девайте...

— Значит, вы не хотите? Ладно, так и запишем: жалающих нет!

— Облаял всю нашу собранью, обозвал дураками, а на прощанье попугал: „Смотрите, бороды, сурьезное дело... Советская власть во какая!.. Ежели не пойдете в ачейку, здорово ответите, потому шта—закон... Приказано всех—под метелку“. И што ты будешь делать! Загадал он нам задачу, загремел колокольчиками и запылил к хохлам на поселки... А у нас водополье началось... Тут ищо слухи пошли... Кто говорит—ачейка-то на барщину похожа, в бумагу перепишут всех, ребятишек крестить не станут, а старики головами качают: „Дожили!..“

Досадно слушать это нелепое горе глухих деревенских углов, не имеющих под руками даже газетных обрывков, но я начинаю смеяться...

— Кто у вас председателем-то?

— Известно кто... Иван Митрич...

— Богатый?

— Ну, богатый... Бедняк!..—впадает Кондратий в насмешливый тон.—Только десять лошадей имет, да восемь верблюдов, да овец с коровами голов полтораста... Рази это богатый?

— Ехали вы с вокзала-то?

— Ехал...

---

[1] Трясется.

— Ну, вот... Видели за Петрунькиным врагом два хутора? Его это...

— И такого вы посадили в совет?

— Кто сажал—сам сел...

Я не знаю Ивана Митрича, но, по рассказам Кондратия, представляю себе приземистого русобородого мужика в длинном городском пиджаке поверх солдатской рубашки. Человек он „себе на уме, с горошком". Когда появились чехи в Самаре, он все свои арендованные участки, овец, коров и лошадей с верблюдами возложил на милость Учредительного Собрания, а как только вернулась советская власть, Иван Митрич заиграл в другую дудку... С ним случился „внутренний" перелом. Приехал он на волостное собранье делегатом от хуторян и начал налетать на богатеньких...—Я, говорит, хочу с бедным народом суглас вести и двести пудов хлеба отдаю им бесплатна... Я, говорит, не хочу жидоморить... Понял я!..—Кинул он удочку с эдаким червяком, а беднота-то и клюнула...

Теперь Иван Митрич „советский" работник, „коммунист". Разъезжает по волости, поглаживая расчесанную бороду, и грозно покрикивает на мужиков, заметая их целой деревней в „ачейку". А кто упирается из боязни, тому грозит указательным пальцем:

— Сурьезное дело... Закон!..

И рисует этот закон таким страшным и карающим, что за одно слово против ачейки—тюрьма, за два слова—расстрел... Там, где есть молодые грамотные солдаты, вернувшиеся с фронта, Иван Митрич стелет помягче, разговаривает другим языком, но в маленьком сельце Ворошилове, в котором мне пришлось заночевать у Кондратия, грамотных из бедноты совсем нет, книг и газет они не видят, настоящих честных коммунистов не слышат, и Иван Митричева ачейка так сильно перепугала ворошиловских слепаков, что они начали представлять ее чем-то вроде невиданного зверя с разинутым ртом...

А Ивану Митричу только того и хотелось, чтобы запугать мужиков. Ненавидя в душе советскую власть, он всеми мерами старался как-нибудь отвернуть от нее население, вызвать недовольство, вражду и показать рабоче-крестьянское

правительство не защитником крестьян-бедняков, а какой-то петлей, которая душит и давит. Вместо того, чтобы разъяснить значение коммунистической ячейки в ее борьбе за революцию, кулак-председатель в каждой деревушке своей волости намеренно долбит одно и то же:

— Велено всех—под метелку...

Уже перед утрышком, собираясь прилечь, Кондратий говорит:

— Ему хорошо, Ивану-то Митричу... Теперь он хозяин над нами. Што хочет, то и делат... Хочет верхом, хочет на бедерке едет на нас... А сказать—не моги...

Кажется, и конца не будет Кондратьевым жалобам. Целую ночь просидел он за столом, вытянув шею, и целую ночь разматывал один и тот же клубок. В маленькой избенке с закупоренными окнами душно. Пахнет лоханью, пóтом и сыростью брошенных в угол пеленок. На сером подтопке лежит лохматая уродливая тень от Кондратьевой головы.

— Слушай-ка!—говорю я, поднимаясь с лавки.—Есть у вас ячейка-то?

— Ачейка-то? Да нет...

— Ну, как же вы живете?

Кондратий смотрит на меня удивленно.

— Ведь вы сами виноваты... Была бы у вас ячейка, лучше бы было и не сидел бы в вашем совете хуторянин-кулак... Не развозил бы вам турусы на колесах... Разве можно так?..

Я рассказываю, как необходимы ячейки по селам, как они работают в других местах, открывают школы, курсы, ведут организацию и следят за действием сельских и волостных властей, чтобы они не безобразничали от имени рабоче-крестьянского правительства. Кондратий слушает. Положил бороду на руки и смотрит почти не мигая. Широко открытые глаза полны внимания.

— Да-а, во-он што!—вздыхает он грудью.—А ведь мы думали—другое... Та-ак... Это надо и нам попробовать, пра-а... А мы-то боялись: што за ачейка?..

На прощанье, провожая меня из избы, он говорит уверенно:

— Мы попробовам... Ей-богу... Яков у нас есть... Расскажу вот ему ваши слова и—попробовам... Главное дело—

объяснить было некому... Вылезет откуда-нибудь эдакой, нагавкат, сшибет с дороги и—опять до свиданья... Ну, и бродим тут... Тыкаемся носом об стенку...

Утром, выезжая за околицу, я оборачиваюсь и смотрю на маленькое сельцо Ворошилово, слабо освещенное лучами утреннего солнца... Степная глушь! Девяносто верст от железной дороги, сто сорок—от города. И в этой глуши попрежнему хозяйствует Иван Митрич, прикрытый деревенской темнотой, и, разъезжая по волости, пугает незрячих ачейкой, возникновения которой больше всех боится сам...

Едем Пронкиным оврагом. В стороне зеленеют железные крыши хуторов.

— Чьи это?—спрашиваю ямщика.

— Иван Митрича... приседателя нашего...

Недурно пригрелся. Громадный господский амбар, лошади—на луговине, верблюды—на гумнах жуют прошлогоднее сено. Под брезентом, за ометами, стоит паровая молотилка...

— Солнце, брызни ярче и разгони в темноте укрытую нечисть!..

НОВЫЙ ДОМ

1

В августе начались приготовления. По одной дороге возили бревна, по другой—известь, железо, кирпич. Старый сарай на старом дворе завалили ящиками, огород позади—ворохами натасканных бревен. С утра до вечера слышалось ржанье скученных лошадей, взвизгивание прижатых собак, растрепанные голоса мужиков. Ухали бревнами, громыхали железом, дымили известью, засоряя глаза, и тихая Аксеновская улица походила на странный шумящий базар, где нечего было купить...

На крыльцо выходил хозяин, Григорий Лукич, одетый позимнему в теплый пиджак, медленно разворачивал черный сафьянный бумажник, застегнутый пряжкой. Делал мужикам выговор, давал наставленье, грузно садился в приготовленный тарантас. Делов много, а времени мало. Нужно съездить на хутора, где работали на быках, с хуторов—на мельницу. Домой возвращался поздно; поужинав, садился за долговую тетрадь, заполненную цифрами. Если было душно, расстегивал ворот у подпотевшей рубахи и, перекладывая косточки на счетах, подсчитывал прожитый день. А когда часы и минуты, люди, быки и десятины превращались в рубли и копейки,— Григорий Лукич записывал их на приход.

Перед сном становился на молитву.

Грехов за собой не чувствовал, молился от полноты, от лишнего выпирающего чувства, переполнявшего грудь... Иногда рядом с ним становилась и жена, Акулина Семеновна. Чужих в доме не было, становилась запросто, в одних рукавах, с дряблыми обнаженными плечами. Молилась на коленях,

с земными поклонами, поминая живых и умерших, а он, посматривая сверху, думал о мельнице, о быках, о постройке, о том, как хорошо жить счастливому человеку...

2

В сентябре нагрянули пильщики с длинными звенящими пилами, плотники с выкрашенными сундучками, каменщики, чернорабочие,—работа пошла полным ходом. Кругом визжали пилы, дружно постукивали топоры, с шумом летело щепье. Пахло деревом, свежей наскобленной стружкой, похрустывающей под ногами, легким запахом умирающей осени...

Подрядчик, Иван Петров, расхаживал с ватерпасом в руке, со складным базарным аршином, выглядывающим из светлого начищенного голенища, а за ним вразвалочку кружился Григорий Лукич. Оба были не молоды, пострижены в скобку. У обоих через грудь висели цепочки часов, утонувших в жилетных карманах. Иван Петров примеривал, прикладывал, нацеливаясь хитрым прищуренным глазом, а Григорий Лукич, улыбаясь, смотрел на народ. Было приятно сознавать себя хозяином в пестрой толпе мужиков. Чувствовалась особая радость и в том, что все они работают на него, имеющего силу держать их в руках. Хотелось встать на бревно повыше, размахивая суконной фуражкой.

— Вот я... Смотрите!

Работали с песнями.

Каменщики похлопывали баб, подтаскивающих кирпичи, бабы замахивались на плотников. Чернорабочие подвозили воду, песок на трех лошадях, а пильщики с утра до вечера кланялись на козлах, высоко поднимая вытянутые руки. Дни стояли теплые, солнечные. Небо было голубое, прозрачное, налитое тишиной и покоем, и под ним, благословляющим новую постройку, быстро, безостановочно рос, поднимался новый бревенчатый дом... Глядя на длинный некрашеный крест, поставленный посредине, на вороха необработанного леса, на камни, песок и железо, над которыми гнулись поденные спины,—казалось, что строится не дом, в котором будут жить Григорий Лукич с Акулиной Семеновной, а нечто большое и важное...

Когда вывели леса и плотники с топорами очутились наверху, рассаженные по углам, — случилось несчастье: убился Егор Кузьмичев, пожилой человек. Думали — так себе, отлежится. Егор начал плевать кровью. Инструмент его собрали, заперли в сундучок. Самого Егора положили в избе у Гришковых, а сундучок с инструментами поставили рядом, около изголовья.

— Не поддавайся, — сказал Иван Петров, рассматривая желтого перепуганного человека с горьким упреком в глазах.— Крепись!

Но Егор поддался...

Целых два дня пролежал на полу у Гришковых, на пыльном раскинутом полушубке. Ночью на третий день горлом тронулась кровь... Испугавшись, начал креститься слабой, неуверенной рукой, попачканной кровью, слегка приподнялся, беспомощно оглядываясь по сторонам. Утром Егора не стало...

Хоронили с выносом.

Пели сами плотники густыми расстроенными голосами, вместе с дьячком. Иван Петров, в начищенных сапогах, покрывал их тонким раскатистым тенором, точно молоденький. На поминальном обеде запьянствовали. Плотник Варлам, корявый мужик с обрубленным пальцем на левой руке, вечером таскался с фуганком, ища покупателя, а маленький, плюгавый Митека падал на стол головой, плакал, ругался, неистово сучил кулаками.

Григорий Лукич не раздевался в эту ночь.

Тревожили шорохи, скрипы, пьяные взбудораженные голоса. То представлялся Егор, падающий сверху, то покинутый коричневый сундучок у Егорова изголовья... Было душно, тяжело на теплой засасывающей постели. Открывая прищуренный глаз, Григорий Лукич всматривался, вслушивался, ждал неприятностей. У Акулины Семеновны всю ночь горела лампадка в переднем углу. На дворе, постукивая кольцами, бродила цепная собака.

Утром всколыхнувшаяся жизнь снова вошла в берега. Егор Кузьмичев выпал как спелое зернышко, до которого нет дела другим, обреченным упасть в свое время. Так же светило солнышко с безоблачного неба, так же кланялись пильщики,

вскидывая руки, словно собирались куда-то лететь. Попрежнему расхаживал Иван Петров с ватерпасом в руке, нацеливаясь хитрым прищуренным глазом... А присмиревший Варлам, оставшийся без фуганка, свесив ноги, сидел на бревне, вырубая гнездо.

3

Месяца через два плотников заменили кровельщики, маляры, печники, стекольщики. А еще через месяц из выведенных труб показался дымок. В новом дому шла уборка. Мыли полы, вытаскивали мусор. Акулина Семеновна в подоткнутой юбке подбирала гвоздочки, следила за бабами. Огромный дом с пустыми незаполненными комнатами казался ей слишком огромным, даже пугающим. Снаружи нравился лучше. Железная крыша с красными трубами, узорный карниз с расписанными наличниками на окнах, самые окна из толстого городского стекла, медные сверкающие ручки на дверях—все это радовало и глубже и больше, чем пустые и высокие комнаты...

Григорий Лукич отправился в город.

А когда вернулся из города, на станцию поехало восемь подвод, притащили в Аксеново мебель в рогожах: стулья, диваны, кровати, столы, этажерки, большое трюмо, упакованный граммофон с широкой полосатой трубой. Григорий Лукич устраивался не на шутку. Он видел, как живут „тысячники“, догонял обогнавших... Самому ему, выросшему вместе с телятами, не нужны были ни стулья, ни трюмо, ни этажерки, за которые отвалил несколько сотен, заработанных быками в степи, но все это нужно было для тех, которые придут и будут смотреть, удивляться, хвалить и завидовать...

Мебель разместили по комнатам.

На большие начищенные окна выкинули занавески. Круглые раздвижные столы и столики обрядили цветными базарными скатертями. В зале повесили часы с певучим „монастырским“ звоном, рядом картину, изображающую море, луну, высокие желтые горы...

Расхаживая по комнатам, упорно рассматривая вещи, привезенные из города, Григорий Лукич то останавливался перед граммофоном, заглядывая в широкую полосатую трубу, то

подолгу стоял перед зеркалом, наблюдая в нем крупную характерную складку на лбу у себя... Спокойные, отдыхающие глаза, украшенные мелкими морщинками, смотрели твердо, уверенно, с выраженьем силы и власти... Под усами лежала улыбка... Да, это он, Григорий Лукич, отражается в зеркале... Это его дом в несколько комнат... Его мебель... Его быки работают на степи... Его поля засеяны рожью, овсом и пшеницей... И шапки скидают ему... И дорогу уступают ему... И пьянствуют все, и живут в темноте для того только, чтобы лучше, теплее, просторнее было ему. Чорт возьми!.. Это не шутка... Да. Он очень сильный человек! Может согнуть, переломить и снова составить не одну, а целую сотню, целую деревню работающих мужиков...

Григорий Лукич улыбнулся, посматривая в зеркало на старика в теплой суконной жилетке, глазами сказал:

— Вот мы какие!..

Акулина Семеновна плавала из комнаты в комнату в мягких отороченных туфлях, одергивала скатерти на столах... На кухне подолгу разговаривала с пришедшими бабами, встречала нищих, поила, кормила, жалостливо совала им в руку „копеечку". По вечерам молилась богу, утром покрикивала на работников. Радость в новом дому не было никакой возможности вылить всю: ни в молитвах, ни в разговорах, ни в милостыни... Она лилась из обмякшего сердца, как вода из переполненного кувшина, излишек этой радости мешал даже спать по ночам.

4

В январе, на Крещенье, справляли новоселье.

Первыми приехали Полозовы на двух тройках, наигрывающих в колокольчики. Потом с Орлянского хутора, тоже на тройках, и разорившийся дворянин Кочетков, старый испорченный холостяк, играющий на последнего козыря... Прикатил земский начальник на паре чужих лошадей, пристав Рачков, толстенький длинноусый человек в синих полицейских шароварах... Попозднее нагрянуло соседнее духовенство, несколько бакалейных торговцев в объемистых пиджаках. Новый двор

под сараями заставили лошадьми. Просторная кухня переполнилась распоясавшимися кучерами. В дому стало тесно...

Григорий Лукич помолодел.

Слышались громкие приподнятые голоса, почтительно упоминающие его имя... Шарили жадные, завистливые глаза, разглядывающие новые натасканные вещи... Встречались улыбки, поклоны, взгляды духовных, размахивающих широкими рукавами... Двигали стульями, постукивали каблуками, кашляли, чистились, останавливались перед зеркалом, поправляя прически, шуршали одеждой... На кухне гремели посудой... На улице под окнами толпился народ...

— Вот она, настоящая жизнь!..

Послали за иконами в церковь.

Молебен в дому служил местный батюшка, о. Анатолий, семейный, приниженный человек в голубой пасхальной ризе с чуть-чуть попачканным воротом. Служил неторопко, выразительно, отчетливо вырубая слова, а праздничное кадило на светлых цепочках, позвякивая кольцами, создавало особый подъем, располагающий к шумной волнующей радости... Пели два дьякона, пристав, о. Варсонофий с женой, лавочник Боков, любитель церковного пения, две гимназистки, дочери Григория Лукича, двое Полозовых: младший и средний... После молебна закатили многолетие „дому сему“. О. Анатолий произнес коротенькое прочувственное слово, приравнивая Григория Лукича к праведному Аврааму, получившему благословение божие... Не вытерпел и о. Варсонофий, иерей в скрипучем подряснике: рассказал притчу о талантах, где опять-таки упоминался Григорий Лукич, получивший „десять талантов“.

Григорий Лукич чувствовал, что он тает, растворяется и вместе с кадильным дымом уносится вверх...

— Вот она, настоящая жизнь!

Потом ходили по двору с крестом и кропилом, тревожили похрапывающих лошадей... А когда сели за стол, начались речи...

— Господа! — сказал пристав Рачков. — Мы являемся здесь вроде... свидетелей... Посмотрите на нашего уважаемого хозяина... Я вижу в нем, господа, силу, энергию, ум и...

ба-альшую опору для нашего... края... Дорогу ему, господа! Я приветствую...

Гости закричали „ура“.

Выступил дворянин Кочетков, связанный векселями, — не вышло. Спутался, затенетился, расплескал половину рюмки на стол.

— Желаю!—сказал, усаживаясь.—Дай бог...

Гости засмеялись, снова закричали „ура“.

Григорий Лукич был растроган. Говорить не мог от волненья. Только кивал головой. Глядя на него с вымытой расчесанной бородой, на румяные помолодевшие щеки с светлыми улыбающимися глазами,—казалось: не за себя радуется, а вот за этих, съехавшихся на праздник, устроенный им...

Когда напились и наелись, завели граммофон. Младший Полозов подхватил молоденькую дьяконицу, пристав Рачков— матушку о. Варсонофия, слетовский дьякон-шутник закружился один. Выступил о. Анатолий в кофейном подряснике. Расстегнувшись, пустился выделывать „русскую“, неловко выбрасывая ноги в нечищенных сапогах. Навстречу к нему выплыла сама Акулина Семеновна с розовым распущенным платочком в руках. Григорий Лукич тоже потопал ногой...

О. Анатолия вывели.

Поздно вечером случилась маленькая неприятность. В то время, когда рассказывали анекдоты, снова явился о. Анатолий с мокрой взлохмаченной головой. Пристав пошутил:

— А-а, лесное подобие!..

О. Анатолий плюнул обидчику на шаровары. Пристав в свою очередь плюнул ему на кофейный подрясник. Их развели, разгородили, а через полчаса они пили на „ты“, спорили о религии... Акулина Семеновна с лавочницами пели старинные девичьи песни... О. Варсонофий с приходским учителем разбирали методику. В соседней комнате сражались в банчок.

Веселились в эту ночь и в самой Аксеновке. Слышались выкрики, песни, вспыхивали бесконечные драки... С вечера мужики кружились под окнами у Григория Лукича, лезли в кухню. Растравленные поднесенными стаканчиками, бродили теперь по сугробам, тыкались в снег, пели, ругались, хныкали. Больше всех веселился Трифон Полушкин, у которого Григорий

Лукич откупил последнюю душу. Оставшись на птичьих правах, Трифон собирался бежать из Аксенова: в город, в Сибирь, за Каспийское море, в „Крым-пески“, где его дожидается хорошая жизнь... А пока до отъезда поколотил бабу, спрятавшую деньги, перепугал ребятишек, стукнул кулаком по столу, ударился в темные, слепые переулки.

5

Будни.

До обеда в дому мыли полы, вытаскивали праздничный мусор. Григорий Лукич лежал на новой железной кровати под плюшевым одеялом, чувствовал расслабление. В хмельной отдыхающей голове проходили вчерашние лица, улыбки, поклоны, а за всем этим стояла широкая плодородная степь, из которой черпал богатства и силу, как воду в реке... Весь почет, вся радость, волнующая сердце, выросли там—на степи, вырытые быками, таскающими бороны, плуги и рыдваны... Степь была грудью питавшей, а сам походил на большого несытого коршуна, жадно клюющего сочную грудь... Выхватил из широкого степного простора несколько сот десятин, вырезал целое поле, но этого мало... Хотелось продвинуться дальше, сесть пошире, запустить корни поглубже... Поглядывая на маленькие, плохо обработанные полоски мужиков, мысленно прикладывал их к своим десятинам... Десятины росли, увеличивались. Неохваченные глазом, уходили за черту горизонта... А на этих десятинах виделись паровые плуги, поднимающие степь на аршинную глубину, сеялки, жнейки, паровые молотилки — огромная полевая фабрика, поставленная им... Во главе этой фабрики—Григорий Лукич, перепутавший мужиков. Все работают на него, все зависят от него, всех он держит в руках, привязанных на веревочку... Стоит только дернуть эту веревочку, несколько деревень скажут:

— Что прикажете?..

Улыбнулся...

Некогда отец его, Лука Силантьич, богобоязненный мужик, собирал по зернышку, по кусочку. Деньги носил на шее, обувался в лаптишки, трясся над каждой копейкой. Григория

Лукича зернышки не удовлетворяли. Сидя на отцовской кучке, понял: сидеть на ней по-отцовски нельзя... Надо повернуться, за что-то приняться, чтобы не умереть дураком. Отцовская кучка стала расти. То, что уходило от мужиков, из-под неумелых мужицких рук, вытащенное пьянством, нуждой и недостатками,—переходило к нему. Чем больше разорялись, гибли другие, тем сильнее, крепче становился Григорий Лукич. Богатство шло по нескольким дорогам... Пожары, падеж, градобитье, голод, ежегодно разоряющие мужиков, совсем не трогали Григория Лукича. Несли ему новую радость, давали новую силу. Он, как охотник: расставлял только сети, а мужики, задавленные нищетой, заходили в них сами, путались беспомощно, покорно...

Пьяненькие говорили:

— Подлец ты, Григорий!.. Сосешь...

Трезвые почтительно снимали шапки, кланялись, уступали дорогу.

Григорий Лукич—великан, крупный землевладелец, шагающий широко и уверенно, сшибить его не легко... Он—не барин, не родовой помещик со старым дворянским гербом, наплевать ему на это... У него свой герб—кошелек...

Улыбнулся...

Рядом за перегородкой играли на гитаре. Старшая дочь-гимназистка пела. Мягко постукивал маятник новых часов. В большие, чуть подмороженные окна пробивались солнечные пятна. Искрились ледяные узоры.

Раньше Григорий Лукич не замечал этих мелочей. Солнышко было просто солнышко, нужное для молотьбы и уборки полей. Часы—просто часы, меряющие рабочее время, а гитара с песнями—ребячье, пустое, ненужное для человека, думающего о быках... Теперь, в хорошую минуту, переполнившую сердце хорошими хозяйскими чувствами, захотелось отдохнуть, позабавиться...

— Клавденька! Сыграй мне веселенькую!..

Пока Клавденька играла, плавал в певучих танцующих звуках, как толстый озерный карась в согретой воде, показывал из-под одеяла смятую нерасчесанную бороду... Пела сама жизнь, которую вел в поводу. Плясала, кружилась.

настроенная твердой хозяйской рукой, в голову ударяло молодое, веселое...

После гитары заводили граммофон, ставили хоровое, с басами... Больше всего понравилась „Херувимская“. Григорий Лукич мысленно поднимался на небо, отсчитывал деньги, которые должны раздать нищим после его смерти, вешал лампады в монастырских церквах, легонько вздыхал...

В полдень приходил о. Анатолий. Пили чай с малиновым вареньем, закусывали теплыми сдобными булками... Похмелялись... Во время чаепитья явился Трифон Полушкин с мутными опухшими глазами. Вошел в просторные комнаты неуверенно, с приниженной улыбкой на темном лице. Поднесли. Дали кусочек сдобной булки, посмеялись над свихнувшимся человеком, ласково выпроводили в сени...

Из сеней Трифон вышел не сразу. Плюнул на новую, обшитую войлоком дверь... Блеснула мысль: „А что, если сжечь это гнездо?..“

6

В феврале приехал сын, Семочка, из губернского города Офицер. Служил адъютантом у начальника гарнизона. На плечах—золотые непомаранные эполеты с тремя звездочками, на левом боку—тоненькая игрушечная шашка с чистенькой незахватанной рукояткой. Сам тоже чистенький, незахватанный, с маленькими приподнятыми усиками. От выпрямленной перетянутой фигуры в новеньких оттопыренных шароварах попахивало гордостью, искусственной генеральской брезгливостью...

Это был не мужик, не мужицкий сын, выросший в старом мужицком дому, а капризный, испорченный барин. По утрам просыпался в 12. Долго потягивался, нежился, насмешливо оттопыривал губы, посматривая на отцовские хоромы. Мимо спальной ходили на цыпочках, разговаривали шопотом. В столовой подолгу шумел самовар, дожидаясь Семочку. На столе стояли приготовленные сливки, масло, сдобные булочки, варенье.

Завтракал Семочка в нижней сорочке с расстегнутым воротом. После первого стакана выкуривал папиросу. Немножко

шутил. Посмеивался над отцом, над отцовским граммофоном с полосатой трубой. Останавливаясь у окна, рассеянно смотрел на проходивших по улице баб, мужиков, ребятишек. Как будто узнавал, как будто не узнавал. Все на этой улице было чужое, далекое, глупое, грязное. И он, выпрыгнувший из этого уклада, тоже чужой и далекий: и этим бабам с мужиками, и соломенным крышам под снежными шапками.

Вечером подавали пару лошадей в теплых высоких санях, на козлы рядом с кучером садился денщик Сережка, молодой курносый парень. Семочка, вытянув ноги, приподняв меховой воротник у шинели, уезжал на прогулку. Резал узенькие степные проселки, обсаженные вешками, кружил по хуторам, забирался на маленькую железнодорожную станцию с буфетом, возвращался в Аксеново на заре усталый, тупой, беспомощный... Из саней выводили под руки, бережно укладывали в постель, словно маленького. Голову обвязывали мокрым полотенцем. Опять мимо спальной ходили на цыпочках, разговаривали шопотом.

Иногда Семочка буянил.

Вскакивая с постели, хватался за тоненькую игрушечную шашку, кричал:

— Сми...рр...нэ!.. Зарублю!..

Призывал перепуганного Сережку, вытянувшегося в струнку. Брезгливо поднимая пьяные разыгравшиеся глаза, сердито замахивался непрочищенным сапогом.

Григорий Лукич не сердился...

Семочка стоит на дороге, поднимается в гору. А Семочкины эполеты с тремя звездочками, Семочкин денщик, называющий его вашим благородием,—действовали на Григория Лукича сильно. Совершенно не жалел денег, которые сорил капризный, испорченный Семочка. Все это оправдывалось молодостью, игрушечной шашкой, золотыми погонами. Часто думал: сам он по-стариковски будет орудовать здесь, в степи, распоряжаясь мужицкими душами, а Семочка—в городе, среди генералов с полковниками, распоряжаясь солдатскими душами. Это было заманчиво, увлекательно, старый человек чувствовал себя властным, неограниченным королем. Только одно пугало: не убили бы Семочку... Не угнали бы на войну...

Говорил:

— Крепко сидишь у начальника?

— А что?

— Так, ничего... Если не крепко, можно укрепить... Я не пожалею.

Прожил Семочка в Аксенове недолго. Сходил два раза в церковь, постукивая светлыми начищенными шпорами, поскучал, поморщился за длинной обедней. Убил от нечего делать двух собак, ворону, нескольких голубей охотничьей дробью, проиграл на вечере у Полозовых две тысячи рублей, разбил несколько чайных стаканов, опрокинул несколько столов в железнодорожном буфете—отправился в город...

Утром у крыльца стояла поданная тройка в погремушках. Сережка-денщик укладывал чемоданы, узелки, корзиночки. Около троечных саней, в хозяйском тулупе, расхаживал кучер Степан, похлопывая рукавицами. В комнатах кружилась Акулина Семеновна, укладывая зажаренных индюков. Григорий Лукич говорил на прощанье:

— Может быть, сено нужно на войско? Скажи там... я поставлю.

А когда прозябшая застоявшаяся тройка стремительно подхватила широкие дорожные сани, задымила по узкой аксеновской улице, отгоняя прохожих с дороги, Григорий Лукич посмотрел в последний раз на согнувшегося на козлах Сережку в жиденькой негреющей шинелишке,—чуть-чуть рассмеялся.

— Ну, этому достанется... парню-то!..

В дому стало пусто. Делов не было. Степь лежала под снегом. Отдохнувшие за зиму быки лениво бродили по хуторским сараям. Работала одна мельница. Григорий Лукич, дожидаясь весны, ездил только на мельницу. После поездки ложился на отдых. Подводил итоги. Пощелкивая на счетах, рылся в записях, отыскивал неоплаченные мужиками долги. Накидывал, наверстывал, сидел за столом со спущенными на нос очками.

В один из таких вечеров со станции привезли телеграмму.

Григорий Лукич развернул ее спокойно. Когда пробежал глазами первую строчку, — крепко стоявшие ноги вдруг

поскользнулись, поехали. Не в силах держать отяжелевшее тело, грузно присел на диван под чехлом...

— Что ты?—спросила Акулина Семеновна.

Григорий Лукич потыкал в телеграмму пляшущим пальцем, бессмысленно огляделся вокруг оробевшими глазами.

— Убит!

— Кто?

— Сын... Семен... Революция!..

Через час в дому сидела привезенная фельдшерица. Акулина Семеновна, пораженная горем, лежала в постели неподвижная, парализованная, с наглухо закрытыми глазами. Перед иконой горела лампадка. В зале, освещенная лунным светом, поблескивала широкая граммофонная труба. По выкрашенному полу незаметно двигались лунные полосы. Мягко, вкрадчиво постукивал маятник у новых часов.

Григорий Лукич ходил по дому в валеных сапогах с высокими голенищами. Подолгу сидел у стола, посматривая на брошенную развернутую телеграмму. Лицо незаметно осунулось. Глаза потемнели, брови срослись.

— Неужто конец?

Испуганно хватался за сердце... Хотелось живых, возбуждающих голосов, шумных деловых разговоров. В дому было тихо.

В два часа ночи подали лошадей для фельдшерицы. Григорий Лукич что-то сунул ей в руку, что-то сказал—не помнит. Не видел, как вышла с закутанной головой. Когда повернулись сани, под окнами фыркнула пристяжная, откидывая голову, он уцепился за живой оторвавшийся звук, мысли в голове побежали—неизвестно куда...

На заре немножко соснул. Сидел на диване, повесив длинную перепутанную бороду, легонько похрапывал. По комнатам стояла тишина. Только в углу, озаряя иконы в богатых окладах, мерцающим светом горела лампадка, зажженная с вечера. Нагоревший фитиль легонько коптил, потрескивал. Открыв глаза, Григорий Лукич на минуточку остановился на слабом мигающем огоньке, освещающем угол, и ему показалось, что он умер, лежит в темном глубоком гробу. Еще немного, и его поднимут, спустят в глубокую яму.

Было жутко чувствовать свое неподвижное тело, попробовал двинуть ногой. Нога была мертвая. Попробовал повернуться—тело не слушалось.

— Смерть!

Испуганно вскрикнул.

Выглянула старуха в черном платочке. Посмотрели друг на друга горькими непонимающими глазами—снова по комнатам тишина.

Рано утром Григорий Лукич зашел к Акулине Семеновне. Постоял над ней, заглядывая в плотно закрытые глаза, подумал, вышел обратно. Через полчаса рабочая лошадь в старых обшитых рогожей санишках везла его на станцию. Трудно было узнать крупного степного хозяина. Вместо прежнего великана, откинувшего голову, в санишках сидел смирный согнувшийся старик в старой потертой бекешке. Не гремели погремушки под дугой, не летели снежные комья из-под копыт пристяжной. Рабочий мерин-водовоз бежал неспеша, похлопывая оторвавшейся подковой. Кучер Степан, привыкший вытягивать руки на козлах, сидел теперь рядом с хозяином по правую сторону, попускивал на него сизой махоркой.

На станции Григорий Лукич сидел в уголке, словно беженец, с узелком в руках. Ходил мелкими спотыкающимися шагами, на людей посматривал издали, сбоку. Прислушивался, вглядывался, читал объявления на дверях, в каждой строчке отыскивал страшного врага—революцию...

Люди, захлеснутые новым, сильно раздували ноздри, бегали, переспрашивали, рассказывали. Из спутанных приподнятых разговоров навертывался огромный клубок...

Григорий Лукич поманил согнутым пальцем начальника станции в красной запрокинутой фуражке. Раньше начальник улыбался, играя глазами, теперь подошел неохотно. Повертел правым каблуком, протирая ямку на снегу, помахал рассеянно бумажкой.

— Н-да-а!..

— Значит, факт?

В вагоне было тесно. Куда ни смотрел Григорий Лукич, к кому ни прислушивался, везде видел жадные, любопытные глаза, слышал прыгающие, возбужденные голоса...

— Радуются!

Его толкали, двигали, никто не обращал вниманья на властного степного хозяина. На первом разъезде втерся какой-то мужичонко в худом подпоясанном полушубке. Отыскивая место, сказал:

— Ну-ка, подвинься, дядек!

Раньше бы Григорий Лукич показал, какой он дядек, теперь было не до этого. Силился что-то понять—и не мог... Силился что-то уместить в голове,—голова не умещала слышанного... Минутами казалось, что все это—сон: и мужики, толкающие его в тесноте, и смелые разговоры, хлещущие по ушам, и острые опьяненные взгляды, не замечающие большого человека. Сидел Григорий Лукич точно сирота, потерявший родителей, думал:

— Не может быть... Это временно... Это должно пройти...

Перед глазами вдруг появлялся убитый, раздавленный Семочка с золотыми погонами, тоненькая переломленная шашка, сорванная солдатской рукой, маленькие окровавленные усики...

Сразу было три горя, и Григорий Лукич не знал, которое из них давит сильнее: сын ли Семочка, Акулина ли Семеновна, пораженная страшным известием, или вся эта революция, влетевшая в прочную, налаженную жизнь...

В городе попал в целое море красных флагов, в море криков, голосов, пения, музыки. Не в силах итти против течения, проплыл, подхваченный волной, несколько улиц, как маленькая послушная пушинка...

Когда остановилось шествие, кто-то кричал, выныривая из толпы:

— Товарищи!..

В ответ размахивали шапками, вскидывали руки. Гремел оркестр духовой музыки. Торопливо бежали солдаты с красными повязками на руках. По бокам гарцовали верховые, раздвигая толпу. Позади тащились гарнизонные пушки. Громко стучал барабан.

— Конец!

Пробыл в городе недолго. Похоронил убитого Семочку, проспал, не раздеваясь, три ночи в меблированных комнатах, побывал у знакомого купца Королева. Королев сказал:

— Ждать надо... Там обозначится...

Григорий Лукич решил ждать. Болело сердце. Жалко было Семочку, Семочкины погоны с тремя звездочками, но к этой жалости примешивалось что-то другое. И это другое ставило в узенький замкнутый круг, из которого не было выхода, а хотелось шириться, расти, подниматься... Он мог пережить и потерю сына, и потерю жены. Мог остаться один, упрямо проводя свою борозду, но выпустить из рук хозяйские вожжи, уступить свое место другим—этого Григорий Лукич не в состоянии был сделать... Это было хуже смерти... А оно, страшное, вырывающее вожжи из рук, подходило все ближе и ближе...

На четвертый день, захватив дочерей-гимназисток, ехал обратно в Аксеново. В вагоне его уже называли товарищем. Он тоже кого-то называл товарищами, но не сердился, не вспыхивал. Погруженный в раздумье, сидел, опустив голову.

На станции, около зажженного фонаря, стоял пристав Рачков с длинными повисшими усами, в стареньком распущенном малахае, совершенно не похожий на пристава, топающего ногами,—в старенькой мужицкой поддевке, без кокарды на лбу...

— Осип Иваныч!

Осип Иваныч погрозил указательным пальцем. Подержал, потряс теплую протянутую руку, торопливо шепнул:

— Бегу... Понимаете?.. Бунт...

Лошадей на станции не было.

Григорий Лукич выходил за вокзал, пристально смотрел на узкую степную дорогу, спрятанную в темноте наступившего вечера. Волновался. Лошадей не было. Прискакали они поздно. Кучер Степан рассказал про Тихона, потерявшего последнюю душу. Теперь он—главарь. Пока Григорий Лукич ездил на похороны в город, он ежедневно стаскивал мужиков в одну кучу, раздувал, разжигал их разговорами о быках, о косилках, о запертых амбарах, насыпанных хлебом, и с руганью, чуть ли не со слезами упрашивал „рассчитаться“ с хозяином...

В темноте навстречу проскакал верховой. Неожиданно из-под горки выскочили санишки с двумя мужиками, ударили

по ногам гусевую, сцепились, уперлись. Кто-то из двоих выругался, свистнул, замахнулся кнутом...

Свист и ругань разбудили Григория Лукича. Поднялась степная упрямая воля. Выхватил у Степана левую вожжу от гусевой, дернул, ударил. Раздувая помолодевшими ноздрями, крепко стиснул чуть-чуть перекушенные губы. Пара лошадей опрокинула мужичьи санишки, взмыла, как будто совсем оторвалась от земли, понесла, не разбирая дороги.

В стороне, левее Аксенова, высунув длинный косматый язык, горел Орлянский хутор. Григорию Лукичу было душно в старой овчинной бекешке. Хотелось сбросить, разорвать, остаться в одном пиджаке, чтобы не задохнуться. То опрокидывался головой назад, закрывая глаза, то, вытянув шею, наклонялся вперед, не зная, за что ухватиться. Видел, как охваченный пламенем пылает и его собственный дом под железной крышей. Разбегаются выпущенные хуторские быки-плугари из раскрытых ворот. Рушится прочное хозяйское гнездо, на котором сидел много лет. Проходили солдаты. Целые отряды солдат. Щелкали ружья, свистали нагайки. Носились урядники, стражники, офицеры, чем-то похожие на Семочку с золотыми погонами. Окруженные ими, мужики падали, становились на колени. Некоторых Григорий Лукич прощал, на некоторых показывал пальцем:

— Вот!

А потом и солдаты опрокидывались. Оставались одни мужики. Не было уже ни Григория Лукича в суконной бекешке, ни степных хуторов с хуторочками, ни огромных амбаров, насыпанных хлебом. Только мужики! Шли отнятой степью, говорили:

— Мы хозяева! Наша земля... Наши и хутора с амбарами...

Дома на широкой кровати лежала Акулина Семеновна, беспомощно шевелила губами. Над ней стоял о. Анатолий с развернутым требником, провожал в дальнюю загробную дорогу.

Свалился и Григорий Лукич. Отнялась сначала одна нога, потом—другая. Лежал он в недостроенном дому, как старое подрубленное дерево. Борода стала длиннее, острые деловые

глаза завалились, потухли. Кожа на лбу обмякла, собралась морщинами. Лежал Григорий Лукич молча, обезвреженный, никому не страшный. Стояли сразу две жизни: старая, в которой прожил шестьдесят четыре года, поглощенный заботами, и новая, вырвавшая вожжи из рук. Минутами казалось, что новая жизнь не пойдет без него, остановится, кто-нибудь скажет:

— Вот вам! Без Григория-то Лукича—не выходит...

Попадали последние сосульки с крыш, обозначились степные проселки. Первой щетиной покрылись пригорки. Мужики хватили вешнего воздуха, напоенного солнцем. Постукивая колесами, потащили из Аксенова бороны, плуги—распахивать побежденную степь. Глаза у Григория Лукича завалились еще глубже. Поднялся с трудом на постели, посмотрел на парализованные ноги, горько поставил над собой длинный некрашенный крест. В сердце словно закурился дымок. Зеленая степь с хуторами уходила от него, а он, выброшенный, уходил от нее, и в этом провале, разделяющем их, было страшно, темно и уныло...

Старый степной хозяин не видел, как светило весеннее солнце, не слышал, как покрикивали мужики, взрезывая ядреную черноземную степь. Сидел на постели, оттопырив побелевшую бороду, думал:

— Конец!

ПО-НОВОМУ

1

Мирон проснулся рано. В щели плетня под сараем смотрело туманное утро, тело зябко прохватывало холодком. Рядом с телегой лежала корова, отдуваясь ноздрями. В темноте под крышей сонно разговаривали куры.

Вышел Мирон со двора, посмотрел из-под ладони на улицу. Прислушался к редкому скрипу ворот. Перекинул уздечку через плечо, торопливо пошел на выгон за лошадью. Через полчаса ехал на маленькой острозадой кобыле, по-ребячьи болтая босыми ногами. Лошадь, выкидывая задние ноги, брала на скачок, пробовала рысью. Фыркала, спотыкалась, трясла головой. Хвост и грива, положенная на обе стороны, были забиты репьями. Редкая свалявшаяся чолка на лбу, тоже в репьях, походила на огромный букет, хлопающий по глазам. Мирон, подпрыгивая, взмахивал руками. Навстречу попадались бабы, выгонявшие коров. Кашляя, шли овцы, звонко кричали ягнята. Пересекая дорогу им, вылетали собаки, хватали лошадь за хвост. Овцы шарахались в стороны, бабы ругались, Мирон улыбался веселой улыбкой.

— Прискакал?—спросил подошедший шабер.

— Прискакал.

— Что больно рано?

— Так уж, эдак.

Пустил лошадь к колоде, сбегал к Ивану, живущему через восемь дворов. Заглянул к Игнату, постучал в окно к Шалферову. С Тереньковым встретился в переулке. Шел Тереньков с гумна, тащил прошлогодней мякины в лукошке.

— Значит, едем?—спросил Мирон.

— А что?

— Так, ничего.

— Что бегаешь?

— Не сидится. Зуд во мне пошел.

Дома долго кружился около телеги, щупал прогнившие лубки, осматривал колеса. Дружески разговаривал с лошадью, хлопающей губами в колоде.

— Вот и на нашей улице праздник. Теперь и мы поживем. Чуешь?

В избе шебутилась жена. Мирон ей сказал:

— Моложе я стал лет на пятнадцать.

— Что это?

— Больно уж хорошо. Дух радоватся. И тебе легче будет там, ты не сумлевайся.

— Дай бог!

Мирон поднял палец.

— Постой! На бога шибко не надейся—это старая штука. Мы хотим по-новому, без всяких чудес.

— Как же без бога-то?

— У нас другой будет. Вот здесь.

Мирон показал на грудь.

— Этому не надо ни попов, ни кадилов.

2

Жил он на птичьих правах в двухоконной избе. Осенью ее проливало дождями, зимой продувало ветрами, заносило сугробами. Сидел Мирон с ребятишками, как хорек в норе, выглядывая в подмороженные окна. Мужик он здоровый, выносливый, и прозвали его за эту выносливость быком. Но как ни упирался, как ни натужился, чтобы вытащить себя из нужды,— не вытащил.

Когда потребовались здоровые мужики бить немецких и австрийских мужиков, Мирона взяли на войну. Много он их перебил: и пулями, и штыком, и прикладом. Поднятый среди ночи, озлобленно стискивал прозябшие губы. Озверевший от холода, грязи, от невыносимой обиды, таящейся в сердце, с ревом бросался вперед, кубарем падал в окопы, исцарапанный висел на колючей проволоке, запутавшись ногами. Без

милости, без милосердия разбивал прикладом головы немецких, австрийских солдат.

За что — этого не знал, а подумать, поговорить об этом некогда было, не с кем. Вокруг толкались такие же озлобленные мужики, согнанные из разных деревень. Одно надоевшее слово слышали все:

— Враги!

Перед каждой битвой на составленных козлами ружьях горели тоненькие свечи, сизыми кольцами вился кадильный дымок. Пухлые поповские руки поднимали над склонившимися головами маленькое освещенное солнцем распятье. Под ним, холодея, сжималось испуганное сердце. Маленькое распятье, благословляющее трупы убитых, давило камнем. Мысли путались. Мирон снова шел, одурманенный зельем. Снова ревел позвериному, догоняя немецких, австрийских солдат. Снова ложился под грязную окровавленную шинелишку до первой тревоги.

На четвертый год положили в лазарет. Пока лежал, стал думать. Увидел настоящих врагов, посылавших на немецких, австрийских солдат. Трехлетняя война дала гниющую рану в спине да бронзовую медаль „за отличия“. Разглядывая награду, Мирон обиженно крутил головой.

— Эх, дурак, дурак! Отличился.

Избенка дома встретила худыми разбитыми окнами, упавшим карнизом. По двору бродила все та же кобыла с отвислой губой и старая надоевшая нужда с разинутым ртом. Не успел Мирон оглядеться, со всех сторон окружили старые непримиримые враги: волчья несытая злоба, щелкающая зубами, бессмысленная мужицкая жадность, мешающая жить. Купеческие участки расклевывались хозяйственными мужиками. Беднякам и калекам приходилось собачиться, тащиться в хвосте. Чувствовал Мирон: как сидел на дне, так и опять будет сидеть. Поставить себя на ноги не сумеет один.

На помощь пришел Тереньков из плена, принес ободряющие мысли. Взвесили они с Мироном на весах в голове у себя, начали собирать других.

— Товарищи, в одиночку наше дело не пойдет. Гляди, какие мы: кто без руки, кто без ноги. Руки есть — лошади нет. Лошадь есть — телеги нет. Правда?

— Правда.

— Вот и давайте по-другому.

Тут Тереньков произнес неслыханное слово „коммуна“. Покатилось оно по улицам, как сказочный колобок.

— Обиженных в ней никого не будет. Нам не капиталы копить и не людей давить. Ты обопрешься на меня, я обопрусь на тебя. Так и пойдет кучкой.

Мирон оказался главной пружиной. Около него дружно заработало несколько человек. Мужикам на собранье объявили:

— Лизарихин участок мы берем под коммуну. Кто хочет пойти с нами, милости просим.

Филипп Карташев выступил с насмешкой:

— Кто это мы?

— Вставай, которые с нами.

Поднялись: Мирон, Иван Быстренький, Кондрат Сухоедов, Шалферов, Лизунков, Гришины два брата.

— Вот кто. Гляди, если не видал.

3

Денек разыгрался хороший. Небо синее, ведряное. Когда над гумнами поднялось утреннее солнышко, Мирон вывел со двора кобылу, запряженную в телегу. Держа в руках длинные мешающие концы вожжей, тронулся по порядку. С левой оглобли Иван пристегнул своего меренишку, шумно фыркающего мокрыми ноздрями. Хвост ему закрутил, словно собирался на свадьбу. Похлопывая по спине пару отощавших коней, сказал:

— И-эх вы, буржуйчики!

Оба с Мироном смеялись.

По улице тронулся маленький поезд, гремя привязанными сзади плужками. Впереди ехал Шалферов на костлявом мерине, запряженном в рыдван. Позади на телегах сидели бабы, девчонки в белых платках. Мужики шли по бокам шумными говорливыми кучками.

На деревне смеялись.

— Гляньте-ка скорее, коммунисты поехали.

Вслед им кричали:

— Тронулись? На новую землю?

— Выдумщики!

Овчинников-старик смотрел со своей завалинки как гриб из-под нахлобученной шапки, недоумевающе качал старой опорожненной головой.

— Цыгане, что ли, поехали?

Мирон волновался как маленький. Солнышко светило хорошо, приветливо. Под согревающим теплом росли новые мысли. Виделась впереди обновленная жизнь, построенная общим трудом и любовью. Виделось широкое вольное поле, выращенное общими руками на общую пользу. Смотрел Мирон вокруг светлыми заигравшими глазами, думал:

— Хорошо!..

4

Лизарихин хутор стоял на горе. Окружали его старые многолетние липы. Вверх по косогору шли неподнятые залежи, упирающиеся в посевы. Под горой в котловине блестело широкое озеро с отлогими берегами. Около деревянных мостков, посаженных в озеро, стояла спущенная лодка, наполовину залитая водой. Плавало старое разбитое колесо, торчала худая квашенка, опрокинутая на бок.

Низкий дом с шестью окнами на солнечной стороне поглядывал в далекий синеющий горизонт, упавший на темно-зеленое поле. Пусто, просторно в дому. Закупоренный воздух попахивал гнилью. Штукатурка на стенах осыпалась, пауки развесили паутину. Чопорно стояли мягкие стулья с обшитыми сиденьями. Тускло поблескивало пьянино с поднятой крышкой, покрытой налетами пыли.

Мирон дотронулся до клавишей. По комнатам со слепыми закрытыми окнами беспорядочно запрыгали звуки.

— Ого! Заговорила!

— Это она с нами ругается—зачем пришли сюда.

— Пущай ее ругается.

Быстренький удивлялся, разглядывая изразцы.

— Жили-то как? Барами!

— Вот тебе и Лизариха! Будя.

— Кабы не вернулась, каянная!

— Вернется на том свете.

Тереньков осматривал комнаты.

— Здесь будем собрания устраивать.

Прошли по двору всей артелью, расценили постройки, распределили работу. Шестеро отправились на участок с плугами, бабы с девчонками подоткнули сарафаны. До полудня выметали пыль, мыли полы, расставляли уцелевшую мебель. Кондрат с Лизунковым постукивали топорами на дворе. Паранька, Кондратова дочь, готовила первый обед на Лизарихиной кухне с чугунной плитой. Санька Лизункова носила воду с колодца, чистила картошку.

Мирон работал на участке. Вошло в него молодое, распустившее крылья, несло, поднимало. Когда увидел дымок, плавающий над хутором, весело прикрикнул на лошадей, пролагающих общую товарищескую борозду:

— И-эй, потягивай!

Обедали на маленькой террасе, выходящей на озеро, за общим артельным столом. Громко постукивали ложками, шутили.

— Здравствуй, Лизарьевна!

— За наша здоровьичка!

Выйдя из-за стола, Мирон посмотрел на широкие раскинутые поля, изрезанные перелесками, долго стоял неподвижно. Обернулся к товарищам. Посмотрел на улыбающихся баб с девчонками, на Михалева, выставившего деревянную ногу, взволнованно сказал:

— Идет, товарищи, вижу!

— Кто?

— Жизнь другая. Трудно языком сказать, не могу. Держаться надо за нее, не выпускать.

Тереньков говорил:

— Учиться надо, вслепую не стоит. Фонарь зажечь в голове. Без огня далеко не уйдем.

Кондрат удивлялся:

— Как во сне! И не верится, что это мы с Гараськой.

Мирон возбужденно вытягивал шею, собираясь сказать ненайденное слово. Радостно окидывал глазами собравшихся, улыбался широкой улыбкой вместе с солнышком, которое улыбалось мужикам с голубого весеннего неба.

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

1

Город. Окраина. Дохлые кошки с собаками, немощеная улица с навозными кучами. Осенью — грязь, летом нечем дышать от гниющих трупов, от старых слежавшихся куч, испускающих тонкий, неприятный дымок. В праздники — семечки, бабы на завалинках, рытье в головах друг у друга. Парни с мужчинами бродят в сатиновых рубахах, растягивают гармоники, дерутся хорошими кавказскими ножами, спрятанными в лаковых голенищах. В будни работа: депо железнодорожное, макаронная фабрика, выделывание кизяков. Мужчины в засученных шароварах, женщины в подоткнутых юбках топчутся по целому дню, вымазанные кислой навозной жижей, похожи на лошадей, работающих на молотилке.

Санька пил.

Бегал за женой по улице, бил стекла в дому, опрокидывал самовар со стола. Отчаянным считался. Маленького, кривоногого, широко раздвинутого в плечах, сшибить его было трудно, связываться с ним опасно... Ругался в „мать“, в „отца“, в „кровь“, „жилы“,—переругать не могла целая улица. Когда по праздникам приходил из города в лаковых перемазанных сапогах, с расстегнутой грудью, улица наполнялась собачьим визгом, лаем, бабьими голосами. Все знали: Санька Голованов идет.

Работал Санька в железнодорожных мастерских — вагоны красил. Мальчишкой работал в городе у подрядчика Николова. Лазил по крышам, висел под карнизом, срывался на мостовую. По неделе не выходил на работу, валяясь с разбитым затылком, потом опять расхаживал с ведерком по крышам. Вырос побольше, работать у подрядчика надоело, перешел в железнодорожные мастерские. Здесь нравилось лучше. Отделает вагон, отшлифует, полюбуется издали, весело скажет:

— Трогай, Максим, готово.

Сам никуда не ездил в выкрашенных им вагонах — ездили другие: барыни, купцы, чиновники, румяные господа, совершенно не думающие о Саньке. Если видели, как прыгал через рельсы он в промасленной рубашке, не интересовались, не догадывались, что это Санька-маляр, всю любовь вложивший в светлые лакированные двери вагонов.

Для своей жизни у Саньки не оставалось любви. Домой приносил старое глухое озлобленье. Едва переступал через порог, около которого ползал трехлетний сын, тоже Санька, с огромным лукошечным животом, озлобленье, лезущее из глаз, упиралось в жену, Маньку кудрявую. Из жениных глаз лезло свое озлобленье, и два человека грызли друг друга, как злые, растравленные собаки.

По ночам, в добрые минуты, жена клала Санькину голову на руку, мягко разглаживала жесткие промасленные волосы. В сердце у Саньки вспыхивала короткая согревающая искра,— но и это было не на радость ему. Появлялись дети от такой близости. Жена ходила изуродованная, с выпирающим животом, голову чесала редко, пачкалась в пеленках. Сердце Санькино загоралось новой обидой.

— Ах, чортова жизнь!

Тесно было, горько, убежать некуда. На двадцать девятом году перестал пить. Начал в церковь заглядывать, вслушиваться в церковное пение. Вечерами садился за евангелие. Прочел Матвея, Марка, Луку, Иоанна—нашел оправданье наполовину загубленной жизни, внутренно просветлел. Если кто возмущался непорядками, Санька радостно говорил:

— Ничего, брат, потерпим.

Сам он решился терпеть. Может быть, так оно и было бы, но кому-то надоело терпеть. Когда Санька отделывал внутренние стены первоклассного вагона для неизвестных господ — по мастерским прокатилось молодое ободряющее слово:

— Революция.

Поднялись маляры, столяры, плотники, кровельщики, кузнецы, слесаря — вся железная дорога, все города, села, деревушки, обутые в лапти. Поднялся и Санька вместе с другими.

Взял на руки непонимающего сына, приподнял выше своей головы, поцеловал с радости в непромытые губы, взволновался.

— Санька, дурачок ты эдакий, чуешь ли?

Посмотрела жена на веселого помолодевшего мужа, спросила:

— Али железку нашел?

Санька и ее за плечо взял.

— Давай больше не ругаться. На душе хорошо у меня.

По-смешному растопырил мозольные руки.

— Лететь хочется!

2

В одно соединял Санька: и заповеди и революцию. Где можно, всегда говорил:

— Товарищи, давайте не делиться. Лучше всем вместе, дружнее пойдет.

Хотелось ему стащить в одну кучу и маляров и бакалейщиков, каменщиков и чиновников, купцов и духовенство. А жизнь делила людей на два лагеря: в одну сторону шли сытые, румяные, гладкие, с толстыми затылками. На другом — как зерна, просеянные сквозь решето—собирались голодные, озлобленные, с темными загоревшимися глазами. Сытые теснили голодных, голодные напирали на сытых. Санька посредником между ними стоял, душевно упрашивал:

— Нельзя так, товарищи. Люди мы, братья, дружнее надо.

Озлобленные показывали на купца со священником, спрашивали:

— Не это ли братья наши?

Санька кивал головой.

— Священники—проповедники любви в человеках.

3

В городе избивали большевиков. Сытые вышли против голодных, объявили войну. Мещане, лавочники, богобоязненные купцы, чиновники побивали временно побежденных камнями, дробили булыжником зубы, сладострастно плясали на

опозоренных трупах. Санька увидел страшное. Старик - священник, проходя мимо окровавленного трупа, распростертого на мостовой, наклонился над ним, придерживая наперсный крест на груди—символ человеческого страдания,—всмотрелся в залитые кровью глаза, торжествующе плюнул в них.

У Саньки волосы поднялись на голове. Побледнел, прислонился к фонарному столбу. На городских церквах слышался перезвон колоколов. Старик-священник шел спокойно, размахивая рукавами — будет служить литургию. Догнал его Санька, несколько секунд шел рядом, слегка подпрыгивая.

— Батюшка, что вы сделали?

Старик - священник удивленно взглянул на бледного взъерошенного Саньку с трясущимися губами.

— А что я сделал?

— Вы сейчас плюнули на убитого человека.

— Иди себе с богом. Я знаю, что делаю.

— Подлец ты!—крикнул Санька. Раскрыл вытянутые губы, плюнул в седую расчесанную бороду.

С минуточку оба стояли пораженные. Не заметил Санька, как сбоку над головой у него размахнулась вытянутая рука бакалейщика Турунова, с размаху хлеснула по зубам.

Санька опрокинулся, щелкнулся затылком о булыжник мостовой, пополз на четвереньках, глотая и выплевывая красные слюни. Окружили его богобоязненные купцы, мещане, чиновники, женщины с толстыми животами—началась звериная пляска.

Притащили Саньку домой без сознанья, с переломленными ребрами. По вискам от ушей струились кровяные дорожки.

Веселые глаза голубые потухли. Налились огромные синяки почерневшею кровью. Жил Санька недолго. Вытянул неповинующуюся руку, нащупал голову маленького непонимающего сына:

— Саня, сынок, запомни это.

Трудно было говорить. Санька умолк. Упала голова на подушку, больше не поднялась.

КРОВАТЬ

1

Иван Григорьич Тимкин получил добавочное жалованье. Домой после четырех возвращался в приподнятом настроении. Казалось ему, что идет он на каком-то параде под волнующую музыку: легко и приятно. С радости хотелось запеть что-нибудь революционное, чтобы опростать помолодевшее сердце. Дома подмигнул жене Анне Кузьминишне в расстегнутой кофте.

— Здрасти!

— Будет дурачиться!

— Поздравь!

— С чем это?

— С праздником...

Вытащил кошелек из бокового кармана, положил на левую руку, правой похлопал.

— Вот они... денежки-то!

— Какие денежки?

— Всякие...

Анна Кузьминишна не вытерпела. Выхватив кошелек, расстегнула, стала вытаскивать бумажки. Под глазами рассыпались морщинки. На тонких губах заиграла улыбка.

— Сколько, Ваня?

— Двести тысяч, Анюта.

Иван Григорьич не мог говорить спокойно, выкидывал разные штучки и от радости был похож на молоденького петушка, впервые захлопавшего крыльями. Когда успокоился, объяснил:

— Жалованье увеличили нам...

— Как заботится советская власть. А уж ее ругают... За что?

— Дураки! — оттопырил губы Иван Григорьич, — чай это самая лучшая власть... Будь другая — получишь шиш...

— А раньше-то ты, Ваня...

— Ну, что же раньше? Я не знал тогда... Ошибался.

Пока сидели за столом, Иван Григорьич думал:

— Чего бы купить?

Блеснула мысль купить хорошее зеркало, жена засмеялась.

— Где ты его купишь?

Верно, купить негде. Раньше можно было купить — денег не было. Теперь деньги есть — купить негде. Магазины, торговавшие зеркалами, заполнены беженцами, красноармейцами, красноармейскими канцеляриями. Вместо зеркал, из окон выглядывают трубы от железных печей. Вывески с золотыми буквами сорваны. На стенах, заменяя их, сушатся красноармейские рубахи с подштанниками.

Иван Григорьич нахмурился. Захотелось ему купить хорошее зеркало во весь простенок, а купить негде. Может быть, лет через десять опять появятся зеркала, но тогда его, Тимкина, не будет. Теперь ему тридцать пять лет, в то время будет сорок пять. А он человек канцелярский, слабогрудый... Конечно, не доживет.

После обеда Иван Григорьич прилег отдохнуть, но спать не мог: нервничал. Рядом с ним легла Анна Кузьминишна. Кровать была узкая, тесная, приходилось лежать „на ребре“. Купил ее Иван Григорьич лет двенадцать тому назад, когда еще не собирался жениться. Сначала спал один под байковым одеялом, потом — с Анной Кузьминишной — под стеганым, принесенным в приданое. За двенадцать лет супружеской жизни привык вертеться на боку, повертываясь к жене то спиной, то грудью. Сегодня не понравилось. Почвокал, попыхтел, сердито сказал:

— Тесно как, чорт возьми!

Анна Кузьминишна осторожно вздохнула:

— Двухспальную бы купить, Ваня.

— Где ты ее купишь?—брыкнулся Иван Григорьич.

— А что, если на толчке поискать... Разве не найдешь?

— Найди иди!

Анна Кузьминишна обиделась. Выдернула руку, сунутую под мужнину шею, крикнула:

— Я виновата? Репейник! Люди находят, кому надо... Вон Трошины — с шишечками купили, на колесиках, с пружинным матрацем.

Поссорились.

Вечером Анна Кузьминишна опять говорила за чаем:

— Как хочешь, Ваня, а без кровати нам нельзя. Ищи!

2

В воскресенье Иван Григорьич пошел на базар. Пели слепцы с белыми неподвижными белками, хрипели граммофоны, пробуя голоса, жарили гармонии, пилили скрипки, перезванивали колокола. Во все стороны летела подсолнечная шелуха с намятых растертых губ. Толпились татары с брюками на плече. Кружили мещане в расстегнутых жилетах, взвизгивали торговки. В одном месте Иван Григорьич увидел подержанную двухспальную кровать на высоких ободранных ножках. Сначала посмотрел издали, прищуривая глаз, как делают охотники, когда целятся в птицу, потом подошел вплотную, потрогал, снова отошел шага на два. Увидел счетовода Григина.

— А, ба! Сорок одна с косточкой! — сказал Григин.

— Купить хочу, — посоветовался Тимкин.—Кровать у меня не годится.

— Не советую.

— Почему?

— Во-первых—дорого, а во-вторых—опасно. Может быть, она тифозная? Ляжешь на нее и захвораешь... Ну ее к чорту! Если бы новую найти...

Домой Иван Григорьич вернулся сердитый, Анна Кузьминишна опять говорила ему:

— Знаешь что, Ваня? Надо будет в коллегию сходить тебе.

— Зачем?

— А вот слушай. Там дадут тебе удостоверение, что у нас нет двухспальной кровати, а кровать нам нужна. С этим удостоверением пойдешь в городской продовольственный комитет. Там дадут тебе талон. С этим талоном пойдешь в советский магазин и выберешь кровать, какая нравится. Понял?

— Не дадут.

— Дадут, дадут, знаю я. Тем более сочувствующим... Если не поверят, пускай комиссию наведут...

Иван Григорьич зарядил себя не на шутку. Новая двухспальная кровать с лакированными ножками не давала покою. Что бы ни думал, куда бы ни шел, в конце концов думал о кровати, видел новую двухспальную кровать и, мысленно развалясь, покачивался на упругом пружинном матраце.

Вечером был митинг. Выступали коммунисты. Иван Григорьич слушал рассеянно, вяло. Вместо новой просторной жизни, какую рисовали ораторы в будущем, видел новую просторную кровать на колесиках.

3

Через неделю, выкупанный пòтом, тащил по тротуару, гремя колесиками, двухспальную кровать с лакированными ножками, полученную из советского магазина. Губы расползались в улыбку, счастливые отуманенные глаза ловили прохожих, поглядывавших на кровать.

— Где купили, товарищ?

— Через комитет.

Старую односпальную, на которой плохо спалось, выкинули, поставили новую. Анна Кузьминишна переменила наволочки на подушках, вытащила из сундука девичью простынь, подшитую кружевами, накрыла кровать белым тканевым одеялом поверх стеганого, и, глядя на все это, Иван Григорьич чувствовал, что он только сейчас начинает жить по-хорошему.

— Свиньи все-таки мы!—сказал, умывая руки.—Все недовольны. Власть ругаем...

— Кто ругает?

— Да все, не сочувствующие этому положению. А какую надо власть—не знай. О бедных заботится.

— Этажерку бы еще, Ваня, огоревать, — вздохнула Анна Кузьминишна.

— Подожди. Раздавим контр-революцию — все будет...

После чая захотелось отдохнуть.

— Полежу немножко.

— Вымой ноги-то, простынь запачкаешь...

Иван Григорьич вымыл, осторожно залез под стеганое одеяло, улыбнулся, протягивая ноги, словно лег в теплую ванну. От удовольствия зажмурил глаза.

— Эх, как хорошо! Иди ко мне...

— У-у, бесстыдник!

— Ну, дай газету.

Побегал глазами по строчкам, позевнул, потянулся, незаметно уснул, точно на волнах покачиваясь на пружинном матраце. Пришел товарищ. Анна Кузьминишна сказала:

— Спит.

— Крепко?

— Разбуди попробуй.

Иван Григорьич спал крепко и видел во сне хорошее зеркало, купленное в советском магазине.

Утром опоздал на занятия, потягиваясь на кровати, а когда сел в канцелярии на свое место, сослуживец Сенков сказал:

— Товарищ Тимкин, вы сочувствующий?

— Так точно! Стою на платформе...

— Значит, готовьтесь.

— Куда?

— Объявлена мобилизация...

В этот день Иван Григорьич перепутал несколько отношений, часто хватал себя за виски. Перед глазами стояла новая двухспальная кровать с пружинным матрацем и властно манила к себе, навевая хорошие сны. Чувствуя, что его отрывают от нее, Иван Григорьич готов был заплакать. Раньше

ему казалось, что он способен на подвиг: пойти и умереть за великое будущее революционного пролетариата, а теперь Тимкин, владелец хорошей кровати, чувствовал себя несчастным, обиженным. Домой дотащился с трудом.

— Ваня, что с тобой?

Иван Григорьич только и вымолвил:

— Несчастье, Анюта.

— Какое?

— Не спрашивай.

Посмотрел на новую двухспальную кровать со взбитыми подушками, сморщился, неожиданно выпрямился и с сердцем ударил кулаком по столу.

— Чортова к-коммуния!

Анна Кузьминишна стояла в недоумении.

КОРОНА

ШУТКА В ДВУХ КАРТИНАХ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Генерал, мечтающий о престоле.
Адъютант, в чине поручика.
Голос (за сценой).
Священник, пожилой, лет 45.
Мужики (небольшая толпа).
Рабочий.
Солдаты-белогвардейцы (несколько человек).
Призрак Красной Армии (группа в несколько человек).

1-я КАРТИНА

Действие происходит в наши дни [1] в белогвардейской России. Сцена представляет обыкновенную комнату. Посредине—стол, стул и несколько табуретов. На стене — карта военных действий, утыканная красными флажками. В момент поднятия занавеса генерал боком к зрителям стоит пред картой.

Генерал (водит пальцем по карте). М-да-а. Положение неважное.

Голос. Хуже губернаторского, ваше п-во.

Генерал. Удивительный народ эти большевики. Ждешь их спереди, а они лезут сзади... Опять восстание в тылу.

Голос. На пятки наступают, ваше п-во.

Генерал (нахмуривая брови). Это что за нахальство! (Озирается, заглядывает под стол, никого не видит).

Голос. Ха-ха-ха!

---

[1] Писалось в 1919 г.

Генерал (берет себя за голову). Боже мой! Неужто я с ума схожу? Неужто бред?

Голос. Так точно, ваше п-во... Заметно. Перестарались вы от лишнего усердия. На отдых вам пора. В отставку.

Генерал (щупая лоб, ходит по комнате). Бедная Россия! (Садится). Бедная. Не суждено ей, верно, процвести под мудрым управлением моим... Не суждено. (Сидит, упершись пальцем в лоб). Погибнет... Все погибнет: мундир, погоны, ордена, надежды, что лелеялись в тиши ночной, и я погибну вместе с ними. И я... В ушах какой-то звон (затыкает уши) и этот неотвязный голос, напоминающий о смерти. О, как он мучит. Везде, повсюду раздражает он меня и, главное,—хохочет. (Пауза. Генерал сидит в глубокой задумчивости, потом быстро вскидывает голову и вызывающе хмурит брови). Но как же так? Неужто сразу? Ведь я же царствовать хочу... Сидеть хочу на высоком месте. Вот вопрос! (Более спокойно.) Царем хочу я быть... Монархом. А если я хочу, и — быть тому... Пускай хоть десять голосов кричат мне в уши... Пускай хоть сто... Хоть двести... (Топает ногой). Хоть двадцать тысяч — не боюсь...

Голос. Ха-ха-ха!.. Как разошелся...

Генерал. Напрасно, братец, я спокоен. Меня ты больше не смутишь. Я покажу вам всем, что я здоров. А это... Что же? Временно. Приму вот валерьянки и пройдет. Расстроился немножко я. И поддался. (Налив в стакан валерьяновых капель, пьет). И каждый бы расстроился, коли вручить ему судьбу народа. Не легкий крест... Не легкий...

Голос. Теперь полегче стало? Ха-ха-ха.

Генерал. Меня ты больше не смутишь. Лишь только бы голову покрыть себе короной, тогда и ты другое скажешь... Теперь-то ты смеешься, а вот тогда... посмотрим. Тогда и ты пройдешь на задних лапках предо мной. (Достает из ящика императорскую корону с отшибленным гербом, сильно помятую). Вот она! (Держит на руке). Вот она. Вы думали—погибла? Уж вы, поди, надеждой тешили себя, что из нее жестяник сделал чайник или ведерко. Ну, нет, на этот раз ошиблись. Погибла только голова, носившая ее спокойно триста лет. Голов же много новых, была б цела вот эта штучка... (Няньчит корону на руке). А это не беда, что вы бока помяли ей. Мы выпрямим,

разгладим и герб поставим новый и эдак вот наденем. (Осторожно надевает корону на голову. Ноги у генерала подгибаются и он, качаясь, приседает). Какая тяжелая! Не даром предки говорили: „Тяжела ты, шапка Мономаха". Теперь и я узнал. Надел чуть-чуть, а голова готова треснуть. Как будто артиллерия проехала по ней. Но и приятно в то же время, чорт возьми! Как будто ростом выше стал. Уж таково-то, верно, свойство всех корон и тяжело, и сладко...

Голос. Раненько надеваете, ваше п-во! Надо прежде сесть.

Генерал. Да... Да... Ты это правильно сказал. Надо прежде сесть. Ну ничего. Мы сядем. Я это чувствую.

Голос. В калошу.

Генерал. А вот увидим. (Сняв корону, кладет ее обратно в ящик). Немножко полежи, голубушка, вот здесь, а я пока койчто устрою. Я моментально. Раз-раз, и все готово. (Генерал ставит два табурета один на другой. Несколько секунд кружится около них, не зная, как залезть. Задумчиво говорит) Трудно все-таки сесть на высокое место... Не каждому доступно. Уменье надо тут и чья-нибудь поддержка. А без поддержки нет... Не влезешь... Я сразу вижу. Напрасно будешь только тратить силы. (Кричит). Поручик!

(Входит адъютант и становится в струнку).

Генерал (манит пальцем). Подойди поближе. Задачу задал я себе. Сначала просто мне казалось, а вот теперь берет меня смущенье. Залезть хочу, но как? Ты не поможешь мне?

Адъютант (улыбаясь). Ваше п-во, один здесь способ: старый и надежный. Забыть изволили о нем.

Генерал. Ну-ну?..

Адъютант. Все императоры входили по народу... (Генерал одобрительно кивает головой). Мосточки нужно сделать вам из мужиков с рабочими. Тогда по ним пойдете вы легко и скоро... как по лестнице.

Генерал. Да, да... Я думал уж об этом... Но лягут ли?

Адъютант. Ваше п-во, насколько мне история знакома, лежали триста лет они. Да как? Не шевелились.

Генерал. Но это было раньше, теперь, пожалуй, не уложишь. Как подняла их революция, все на ноги вскочили, ударились ходить на митинги, на лекции, концерты, читают, думают, и все какой-то ищут путь. Поди-ка уложи! Упрутся ведь, пожалуй, а? Как ты думаешь?

Адъютант. Ваше п-во, я мужиков прекрасно знаю. Им очень нравится, когда их давят. В привычку уж вошло, чтоб их давили. А если их и подняли, то это так... от глупости они шатаются. Внушить им надо только чрез священника. Он их отлично водит вокруг пальца. И я уверен, лягут как один. Не пикнут даже. Вот увидите. Я мужиков прекрасно знаю. Мой дедушка помещик был...

Генерал (весело). А ты не глупый малый. Тебя я сделаю... (маленькая пауза) министром просвещения, когда налажу государство. Иди, голубчик, позаботься, чтоб я был здесь (показывает на верхний табурет). На этом месте. Твоих услуг я не забуду...

(Адъютант уходит).

Генерал (один, ходит по комнате). Как я устал! Как я устал! Хотя немудрено. Ведь столько дел! Ночами целыми не сплю. Все думаю... И часто вижу императором себя... во сне... Ах, если б наяву!.. (Пауза). Ах, если б наяву. Мальчишкой был я. Юнкером... давно. Цыганка мне тогда гадала. Взглянула на ладонь вот так (смотрит на ладонь) и говорит: „Великий будешь человек. Поверь“. (Пауза). Я верю в это предсказание, я чувствую. (Пауза). А все-таки поручик—с головой мальчишка. Как скоро понял он. Другой бы думать стал да морщить лоб, а этот сразу в цель попал. Хотя и молод, но, надо полагать, с большим образованием. (Входит адъютант).

Адъютант. Ваше п-во! Народ идет.

Генерал. Уже?

Адъютант. Так точно.

Генерал. Наверно, неохотно?

Адъютант. С большим удовольствием, ваше п-во. Стесняются только... Мы, говорит, очень грязные: кабы, говорит, он не попачкался об нас.

Генерал. А батюшка с ними?

Адъютант. Да, он там насчет священного писания им бубнит. Доказывает божественное происхождение властей.

Генерал. Он как бы там чего не наговорил... излишнего.

Адъютант. Не беспокойтесь, ваше п-во, человек в высшей степени образованный... Академию кончил.

Генерал. А ну, пускай войдут...

(Принимает гордо сокрушенную позу. Входит священник с крестом в руках. За ним солдаты гонят связанных мужиков и одного рабочего. Мужики упираются).

Священник. Не упирайтесь, братие! Ваш путь отмечен благостью господней. Своим умом не можете постигнуть вы премудрости всевышнего творца. Тут верить надо. Только! Награда ваша в небесах. (Показывает пальцем в потолок). Ложитесь с господом для процветания России.

Голос. Эй, ребята, не выдумайте лечь. Не встанете еще лет полтораста.

(Мужики, упираясь, стоят в дверях).

Генерал (про себя). Вот бараны. Уперлись рогами и — ни с места. (К священнику) Батюшка, вы говорили им?

Священник. Да, да... я говорил. Я каждый праздник говорил.

Генерал. Но почему же они стоят?

Священник. По глупости, ваше п-во. Больше я ничем не объясняю. По глупости... Вы только их не торопите, лягут. Братие! Господь бог, иже сотворивый...

1-й мужик. Зачем же нам ложиться, батя? Ты объясни нам хорошенько... Оно конечно... Што же? Желательно узнать.

Священник. А это вашему уму непостижимо. Так господу угодно. Его пути неисповедимы... Вот что говорит священное писание. (Раскрывает книгу в руках). Глава 4-я, стих 5-й...

Рабочий. Молчи, несчастный лжец! Кончай скорей комедию свою!

Священник. Ну, ты не очень. Здесь не митинг.

Генерал (подзывает к себе адъютанта и, показывая на рабочего, говорит). Зачем ты притащил его? Ведь он, наверное, большевик... И их расстроит.

Адъютант. Ваше п-во, еще вчера он беспартийным был.

Генерал. Не надо было вовсе. Мы обошлись бы без него. Теперь и путайся вот с ним. Гляди, какие у него глазищи. Конечно, большевик. Меня уж не обманешь, я узнаю их издалека.

Священник. Глава 4-я, стих 5-й.

1-й мужик. Глава-то глава... Это мы давно слышали... Раздавит он нас всех. Вот что... (Показывает на генерала). Вон какой чурбан...

2-й мужик. И землю всю отнимет...

3-й мужик. Заставит подати платить... Заставит. К этому идет. Мы видим...

4-й мужик. И пристава посадит вновь на нашу шею. Не стрях-не-ошь.

Генерал (раздраженно). Ну, что за разговоры там? Я не люблю, когда крестьяне говорят. Молчать должны они и слушаться. (К священнику) Отец, скажи им толком, что я не для себя сажусь, а для несчастной родины... для спасенья страны. (Утирает слезу). Неужто им не жалко бедной родины?

Священник. Темный народ, ваше п-во... Не понимают. Уж я ли им не толковал...

Генерал (отводя священника в сторону). Обманывать не можешь ты. Скажи, что там, мол, в небесах (показывает пальцем в потолок) вас ждет полдюжины венцов. Они охотники до этого. Особенно крестьяне-старики. Их хлебом не корми, лишь посули им царствие небесное...

Священник. Братие! Не слушайте бесовского соблазна. Лежать ведь лучше, чем стоять... Гораздо лучше. И спокойно. Ну, трудно будет вам немного... Ну, тиснет вас он сапогом. Зато потом как будет хорошо... в загробной жизни... Венцы получите и в кущи райские войдете. А если будете стоять вот так, упершись в землю лбом, то и в аду вам места не дадут. Упрямцы!

Голос. Врет, ребята, не верьте!

Адъютант. Ваше п-во! Что за церемонии? Позвольте мне... Я живо уложу их способом военным...

Генерал (притворно). Поручик, молод вы. Зачем крутые меры? Народ, лежавший триста лет, привык лежать и ляжет

сам, чтоб по нему вошел я на престол. Он добрый, славный—народ наш русский. Богобоязненный. Ложитесь, братцы, а я подумаю за вас... Отдохните.

(Мужики упираются).

Генерал (грозно). Ребята, что я вижу? Непокорность? Со мной плохие шутки... Я... Смотрите... После не пеняйте... (За сценой слышатся ружейные выстрелы. Генерал закручивает усы). Я жду... Даю вам пять минут на размышленье. Не то... Вы слышали?.. Я расстреляю вас... Ббар-раны. И все-таки войду сюда. (Показывает на верхний табурет). Хотя б по вашим трупам. Чего б ни стоило мне это, но должен быть я здесь... И буду... (Топает ногой). Сейчас... Сегодня же. Мне некогда вас ждать...

Священник. Братие!..

1-й мужик. Везде все мужики... О горе!..

2-й мужик. Глупые мы и очменно смирны...

3-й мужик. Небось, не ляжет вместе с нами поп-то!

Голос. Чай, он не дурак!..

Голоса мужиков. Ложись, Иван Силантьич, ты привышный.

Иван Силантьич (худенький мужичонко, становится на колени). О горе!..

(Вслед за ним ложатся и другие. Слышатся голоса)

— О горе!..

— Вот тебе и свобода! Опять ложись.

— Когда ж конец-то будет, а?

Священник (обращается к рабочему, который стоит). А ты что, чадо?

Рабочий (замахивается на него связанными руками). Прочь, лукавый дух! Не подходи! Уста твои ни разу правды не сказали. Не оскверняй распятье грязными руками. На нем был распят защитник угнетенных, противник всех царей, а ты бесстыдно продаешь за серебренник его. Ты ослепил их ложью вековой. (Показывает на мужиков). Прочь. Не лягу в эту кучу добровольно я. Я буду защищаться...

Генерал (адъютанту). Поручик! Успокой, голубчик, парня. Он нервы портит мне.

Адъютант (делает знак рукой, рабочего хватают солдаты, ломают ему руки, тискают в кучу).

Рабочий. Ломайте руки, голову сверните, но ненависть моя—во мне. Ее вы не убьете.

(Несколько секунд на сцене тихо. Генерал, адъютант и священник стоят в минутном размышленьи. Мужики кучей лежат на полу около табуретов, изображающих трон).

Генерал (поднимая ногу, наступает на первого крестьянина снизу).

Крестьянин (стонет). О-о-о!

Генерал. Труден путь войти на это место (показывает на верхний табурет). Труден... Все кровь... Все жертвы... И хруст костей. (Пауза). Но... пути иного нет. А жалость?.. Чувство это. Оно великим людям недоступно.

Крестьянин (под сапогом). О-о-о!

Генерал. Молчи... молчи... Ведь мне труднее вверх подняться, но я иду. Не для короткой бренной славы, а для спасенья бедной родины. Замучилась она. Все фабрики, заводы отняты декретом. Земля, растившая плоды и хлеб бездельникам, во власти черной кости. Да что?—Погоны, украшенье плеч, и те сорвать решили. Работать заставляют тех, кто сроду не видал, как хлеб растет. Помещики ревут, как малые ребята. Купцы, заводчики бредут сиротами из края в край и не находят теплого угла. Разве это жизнь? Нет... Нет... Я положу конец всем этим безобразиям. Я успокою так страну своим правленьем, что муха прожужжит... ж-ж-ж... и ту услышат все. Вот какая тишина наступит! Лишь бы только усесться мне покрепче. (К священнику) Отец, благослови меня на трудный путь.

Священник. Моя смиренная молитва будет укреплением тебе, коли сюда кой-что перепадет от милости твоей. (Протягивает руку).

Генерал. После... После... Не обижу. Будь спокоен.

Священник (поднимает крест). Да благословит тебя господь бог наш. Всегда... и ныне... и присно... и во веки... веко-ов.

Генерал (поднимает вторую ногу). Не забывай меня и в будущем молитвами, отец.

Мужики (стонут, кричат).—О-о-о!
—А-а-а!
—Батюшки!

Священник. Лежите с господом. Лежите!

Голос. Эх, темнота, темнота!

Занавес

2-я КАРТИНА

Генерал сидит на верхнем табурете с гордо поднятой головой. В одной руке у него — плеть, в другой — железные кандалы. На голове императорская корона. Внизу, распластавшись, лежат мужики.

Генерал. Давно стремился я на это место. С малых лет душа тянулась к власти. О власть! Как сладко мне держать ее в руках вот так... Неограниченно!.. (Потрясает плетью). А там... внизу... (Пренебрежительно смотрит вниз). Слепых, покорных куча. Мечтают дураки о царствии небесном. Пыхтят, сопят и ждут, когда наденут им венцы на головы бараньи... Ха-ха-ха! Ну, ну, пускай. Им это в утешенье. А я уж свой надел (дотрагивается до короны). Я уж получил. (Задумчиво) А что, как будто бы она сползает набок у меня. Хотя не удивительно. Кругом волненья идут, мятежи... Весь мир перевернуться хочет. Уж сколько этаких корон слетело вместе с головами? (Закрывает глаза. Небольшая пауза). А хорошо сидеть вот так... и чувствовать, как сладко бьется сердце... как под ногами у тебя лежит народ безгласным трупом и ждет, когда ты милостиво (делает величественный жест рукой) бросишь кость ему. Ха-ха-ха!.. (Весело) За это можно умереть. (Пауза). Я не жесток. Я милостив. Народ, на трон меня поднявший, получит все, что я несу с собой. Чужого мне не надо. Вот векового рабства цепь, надетая на мужиков покойными царями. Вот плеть, гулявшая по спинам их. Я все отдам. Верну по праву тем, с кого их сняли. И мало этого—еще прибавлю кое-что. (Взмахивает правой рукой, гремя цепью).

Голос. Потише, ваше п-во. Упадете.

Генерал. Опять противный голос? (Уверенно) Ну нет, голубчик, держаться буду я. Обеими руками. (Держится за плетку).

Голос. Не удержитесь, ваше п-во! Ненадежная штука.

Генерал (сердито). Отстань, пожалуйста. Давно я слышу эту песню. Ты не запугаешь ей. Ведь мне цыганка ворожила, когда был юнкером. Взглянула на ладонь и говорит... (Перед глазами генерала появляется красный призрак с направленными на генерала винтовками. Генерал испуганно закрывается руками). Позвольте... Как?.. Откуда?..

Голос. Из Советской Республики, ваше п-во.

Генерал. Поручик!

Адъютант (становится в струнку).

Генерал (показывает дрожащим пальцем на призрак). Когда и кто их пропустил сюда?

Адъютант. Ваше п-во.

Генерал. Да говорите, чорт возьми! Когда и кто?

Адъютант. Я никого не вижу, ваше п-во.

(Призрак исчезает).

Генерал (смотрит удивленно, успокаивается). Вы никогда не видите. Идите! Ха-ха-ха! Поручик! А ловко я сыграл комедию? Скажите?

Адъютант. Ваше п-во.

Генерал. Ну, ну, голубчик, не сердись. Я пошутил... Испробовать хотел, насколько сердцем преданы вы мне, т.-е. военные вообще, и в частности вот ты, как адъютант.

Адъютант. Ваше п-во, мой дед был приближенный государя. Могу ли я...

Генерал. Я верю, верю. Ступай, голубчик! Я должен посидеть один. Подумать на досуге о реформах для народа. Иди!..

(Адъютант уходит).

Генерал (один, протирает глаза). Неужто бред? Но я ведь ружья видел... направленные мне в грудь. Убить меня хотели. (Смотрит в угол. Призрак появляется снова). Вон, вон... Опять... Поручик!.. (В это время мужики слегка ворочаются). Боже мой! И эти тоже! Поручик! Чорт возьми!

Адъютант (становится в струнку).

Генерал. Я вас под суд! Чего глядели вы! Гоните всех отсюда вон! Они мешают мне сидеть. Они мне ружьями

грозят. Вон... Вон... И эти тоже. (Показывает на мужиков). Они шевелятся...

Адъютант (вынув револьвер, тычет им во все стороны). Застрелю... На месте... Руки вверх! (Призрак скрывается. К мужикам) А вы, скоты! Смотрите!

Генерал. Давни их посильней. Молитва, верно, мало действует на них.

(Адъютант давит мужиков сапогом).

Генерал (поправляет корону). Ну, вот. И что она слезает набок все? Поручик, тебе оттуда видно? Как будто бы набоку она немного.

Адъютант. Немножечко есть, ваше п-во! Прикажете поправить?

Генерал. Ой, нет, нельзя. Когда ты будешь в чине генерала, тогда тянуться можешь и к короне. Теперь же должен встать вот так... на шаг... почтительно и делать то, что скажет голова в короне. Просто ведь понять?

Адъютант. Так точно, ваше п-во! Очень просто.

Генерал. А в этом вся и дисциплина. Ступай, пошли ко мне священника.

(Адъютант, постукивая шпорами, уходит).

Генерал (один). Мальчишка! Тянется к короне. Быть может, и мечтает кой о чем? Не знает, глупый, что последней ее носит вот эта голова. (Сидит в глубокой задумчивости). Как странно все-таки устроено на свете. Лишь только сядешь где-нибудь, как, смотришь, ссунуть уж хотят тебя.

Священник (входя, разговаривает сам с собою. Становится позади генерала). Как ни ругают все меня, а я живу. И понемножечку толстею. (Щупает живот). Ведь я и создан для того, чтоб все меня ругали... Я в этом вижу ценность для себя... Иные говорят: „Попы не нужны нам: лжецы они“. А те, кто ложью дышат, твердят усиленно глупцам: „Нужны. Без них-де жизнь погибнет на земле“. Ну, вот и спорят. Книги даже пишут о попах. Газеты заполняют. Бумаги тратят вороха. (Самодовольно стукает себя пальцем по лбу). Бо-ольшой предмет ты, Феофан!

(Почтительно становится перед генералом). Вознес тебя господь высоко и щедро возвеличил милостью своей.

Генерал. Садись, отец.

Священник. Каких молитв потребовалось вам?

Генерал. Душа болит, отец. Боюсь чего-то я... Виденья мучат. Столкнуть хотят меня.

Священник. Ах, разбойники!

Генерал (показывает на мужиков). И эти не лежат. Подняться хотят... Вон... Вон... Смотри.

(Мужики слегка ворочаются).

Священник. Потягиваются они, бока перележали. Не бойтесь, генерал. Не встанут долго... Насидитесь...

Генерал. Хочу реформы дать народу. Но вот вопрос: с чего начать?

Священник. По-моему, перевернуть их надо... на правый бок. А то на спину положить... И если вам угодно будет сделать это, то весь народ почувствует бо-ольшое облегченье и сразу же увидит мудрость вашего правленья. Поймет, что вы заботитесь об нем, как любящий отец о малых детях.

Генерал. Да... Да... Я это сделаю. А вот насчет культуры как?

Священник. Культура—слово иностранное, а русскому народу понятней, проще русское. Откройте им казенку и пусть себе сидят в ней, мочат бороды. А что до разных там культур, то это все, по-моему, пустяк. Пусть немцы этим занимаются... А мы, на господа надеясь, обойдемся и без них...

Генерал. Да, да... Я тоже думаю. (Веселее) А что, отец, в стране моей? Довольны тем, что я сижу?

Священник. Уж так довольны, трудно рассказать. В церквах молебны служат за здоровье ваше... Звон на колокольнях, как на пасху. А уж тишина кругом... Порядки... Муха эдак невзначай... Ж-ж-ж... Сейчас урядник за ней. Сам полицмейстер скачет с револьвером. Кто, говорит, нарушает общественную тишину и спокойствие? А? И если мухе не удастся в трещину залезть—тут ей и голову долой.

Генерал. Ну, это слишком. Я думаю, полегче можно.

Священник. Никак нельзя, ваше п-во! Большие головы сидят над разрешеньем этого вопроса: князья, сенаторы, министры разные, и все пришли единодушно к такому выводу, что если мухам волю дать, то слишком шуму будет много, и не возможно будет спать... Пошли гудеть... Пошли гудеть... Замучают...

Генерал. Да, да... Ты это верно говоришь. Крутые меры нам необходимы. Ну как рабочие?

Священник. И не узнаешь. Работают часов 16 в сутки. Живут в подвалах. А уж скромны-ы!.. Нам, говорят, хорошо и этак. Мы, говорят, простые люди. Не барской крови. Ладно нам.

Генерал. А как крестьяне?

Священник (радостно). Превыше всех похвал. Ко мне относятся сугубо. Шесть дней работают помещику, а седьмой — ко мне валят с грехами. Едят лишь хлеб с водой и рассуждают так: „От этой пищи плоть играет меньше“.

Генерал. Не ропщут?

Священник. Что вы, ваше п-во! Слезами ноги вымыть вам готовы.

Генерал. А не врешь? Ты мастер ведь на это.

Священник (разводя руками). Моя такая специальность. Другого образованья я не получил.

Генерал. Ну, ну... Не в этом дело. Не сердись! Меня смущает вот что... (Смотрит на мужиков). А вдруг они поднимутся. Ведь я тогда могу упасть.

Священник. Вполне естественно. Таков закон уж физики... Сначала вверх... все вверх... все вверх. Потом все вниз... все вниз — сразу... трррах!

Генерал. Понес теперь. К чему вся эта философия? Скажи определенно: поднимутся они иль нет?

Священник. Вполне естественно. Трава, примятая ногами, и та невольно тянется подняться...

(Мужики ворочаются сильнее).

Рабочий (тихонько развязывает себе руки, сбрасывает веревки и осторожно развязывает мужиков. Шепчет одному из них на ухо). Товарищи, пора подняться. Я слышу пенье... Наши идут...

(За сценой слышится пение: „Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов...“).

Генерал. Гляди!.. Гляди!.. Чего им надо?

Священник (к мужикам). Чады во Христе возлюбленные!

(Мужики ворочаются сильней).

Рабочий (шепчет мужикам). Товарищи, тряхните посильнее!

(Табуретки, на которых сидит генерал, слегка качаются).

Священник (в сторону). Вот беда-то... Не уговоришь. Братие!

Мужики. А-а-а...

Генерал. Отец, пугни их чем-нибудь таким, чтобы сразу оглушило.

Священник. Попробуй-ка иди... Тут надо с кротостью... (Становится в молитвенную позу). Православные! Блаженни кротции, яко тии...

Мужики (ворочаются). У-у-у...

Священник (отступая). Яко тии...

(Мужики ворочаются сильнее).

Рабочий. Сразу, товарищи, сразу!

Голос. Что, батя, не действует!

Священник (громко). Слышите вы? Не выдумывайте! Гнев господень поразит вас стрелами...

Голос. Трава и та старается подняться. А это люди, батя, люди. Вставай, ребята, поднимайся! Будет вам лежать! Лежали триста лет, еще хотите столько?

Генерал (испуганно держится за корону). Глуши, отец! Глуши сильнее их! Поручик! (Перед ним опять появляется призрак Красной Армии). Отец, отец! Штыки. Поручик! Тащите пулеметы! Восстание в тылу.

Священник. Огонь небесный вас сожжет... свят, свят, свят... (Крестит мужиков дрожащей рукой). Граждане, побойтесь бога! Что вы?

Генерал (качаясь на табуретах). Братцы, ведь мне цыганка ворожила. Как же это так? Братцы, ведь мне же сидеть

хочется. Стой, стой, стой... Братцы! Всю землю вам отдам за легкий выкуп... Поручик! Где же он? Поручик, чорт возьми! Тащите пулеметы! Пошлите радио союзникам! Отец, быть может, ты стрелять умеешь?

Голос. Хорош стрелок!

Священник (подбирая полы). Вот так умею. (Со всех ног бросается бежать. В дверях перед ним появляется призрак Красной Армии). Господи Иисусе... Да воскреснет бог! (Стоит, растопырив руки). Последни времена...

(Мужики поднялись, удивленно смотрят вверх).

Генерал. Братцы!

Голоса мужиков: 1. Ишь залез куда!
2. Да как он влез туда?

Рабочий. А кто лежал под ним? Не вы?

Голоса мужиков (все вместе). Так это он давил нас сапогом? Иван Силантьич, трахай! Будет там ему...

Иван Силантьич (поднимая ногу, бьет в нижний табурет). Буржуй!

Генерал. Скоты! Ведь вы Россию губите!

Голос. Ха-ха-ха!

Голоса мужиков: 1. Хватай его за шапку!
2. Наваливайся грудью!

(Тянутся руками).

Иван Силантьич. Ишь забрякался!..

(Табуреты падают. Генерал летит вниз, держась за корону).

Генерал. Погибну, но в короне...

(На сцену влетает адъютант).

Адъютант. Ваше п-во! В северо-западном направлении...

(Увидя мужиков, хочет метнуться назад, но в дверях натыкается на красный призрак. Испуганный, бросается назад, бегает по сцене).

Рабочий (вскакивает на табуретку). Товарищи крестьяне!..

Голоса (за сценой). Урр-а!.. Урра-а-а!..

Занавес

КОНТР-РЕВОЛЮЦИЯ

ШУТКА В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Контр-Революция, седая старуха, вдовица.
Купец, Стратон Кудимыч.
Помещик, Михаил.
Деревенский кулак, Кузьма Вавилыч.
Священник.
Погром, здоровенный парнища, под кличкой „Ванька“.
Джон, иностранный капитал, подкрашенный, молодящийся старик.
Рабочие.

Действие происходит в наши дни. Сцена представляет темную полуосвещенную комнату с одним окном. Окно занавешено. Направо от зрителей сидит

Контр-Революция на большом сундуке. Вяжет петли. Налево от нее сидит священник, опустив голову.

Контр-Революция (вскидывает голову, чешет спицей в затылке). Ну и устала я, признаться! Который месяц уже вяжу и не могу закончить. Нитки, что ли, не годятся? (Рассматривает клубок).

Священник (не поднимая головы). Теперь хороших ниток не найдешь. Гнилье одно! Вчера пошел я на базар полюбопытствовать, и что вы думаете? (Поднимает голову и смотрит на Контр-Революцию. Контр-Революция смотрит на него). Представьте себе. Сто рублей катушка! А нитки — дрянь. Ну, как вам нравится? При нынешних доходах. Сто рублей. Да где их взять? Ведь не несут. Буквально не несут. Бывало, женятся — сейчас ко мне. Венчайте, батюшка. Ну, тут тебе — петух или курица глядят из-под полы, за ними каравашек катится на

стол и, кроме этого всего, рублей пяток—десяток спустишь вот сюда (показывает на карман). Вообще... как сказать, нельзя пожаловаться было, а вот теперь... Венчают судьи... Запишут в книгу и — готово... (Священник поднимается с табурета). Вы меня извините, госпожа Контра. Теперь хожу в худых штанах. (Раскрывает полы полукафтанья и показывает худые коленки). Видели? Когда же доношу последние отрепья, придется, как Адаму, шить штаны из листьев. Ведь нет материи. Совершенно нет! И денег нет! Запас я было тысяч сорок, да сдуру в банку положил. На книжку. Погнался за процентом, и вот теперь свищу в кулак. Пришли большевики и—забрали. Ты, говорит, не трудился над ними. Как, говорю, не трудился! Позвольте! А кто к заутреням вставал чуть свет? Бывало, сторож лезет на колокольню, а я уже на ногах. Все спят, а я бегу. Буран ли, дождик ли — бегу. Иль с требой позовут. Приедут в полночь и стучат в окошко: „Встава-ай". Пригреться не дадут.

Контр-Революция. Вот до чего доводит свобода-то! Во-от!

Священник. Да разве я давал ее! Я против был всегда.

Контр-Революция. Полно, полно, отец! Ведь я же знаю. Не скрывай!

Священник (прикладывая руку к сердцу.) Госпожа Контра! Уверяю вас, тут какое-нибудь недоразумение. (Отчеканивает) Я всегда был против...

Контр-Революция. А кто читал брошюрки, а? Кто говорил об учредительном собрании? Не ты? Не ты сидел, бывало, с мужиками на завалинке и на собранья к ним ходил? Припомни-ка, не ты был кандидатом в земское собранье? К чему добро?

Священник (утирает ладонью вспотевший лоб). Но, госпожа Контра, все это было не от злого умысла. Честное слово. Да если б знать? Да я бы проклял их тогда...

Контр-Революция. Ну, и сиди теперь вот без штанов!

Священник. Я-то ничего... Жена уж очень недовольна: ботинок у ней нет, а босиком ходить не может—непривычна. Ну, вот и ссорится со мной... Беда! Чулчишек нет. Пройдешь, бывало, по порядку и шерсти разной наберешь вязанку: черной, белой, а нынче волосок хотя бы дали... хотя бы издали взглянуть

вот так... (Смотрит на два выставленных пальца). Совался было в потребиловку приказчиком, а мужики кричат: „Не надо...“ Поставили какого-то солдата. Хочу итти в учителя. Им жалованье хорошее теперь. Квартира, свет и отопленье. Ведь нечем жить-то, трудно. Посеял табаку на огороде—свиньи вырыли весной. Вы, может быть... Я извиняюсь, госпожа Контра... Вы, может быть, дадите мне немножечко на черный день. Я был бы очень благодарен и заплатил бы вам сторицей.

Контр-Революция. Откуда у меня? Помилуйте! Сама нуждаюсь до зарезу.

Священник. Мне, знаете, немного.

Контр-Революция. Нет, нет... И не проси. Теперь такое время, без денег, как без рук.

Священник. Совершенно верно. Ужасное время!

Контр-Революция. Всем трудно, не одному тебе... У меня вон тоже сыновья шатаются без дела. У двоих всю землю отняли задаром, а третьего выгнали из-за прилавка. А я стара и что-то зрение портится: не вижу, все в ямы попадаю. Иду - иду и — раз!

Священник. А это вы... чулочки, что ли, вяжете кому?

Контр-Революция. Какие там чулочки! Петли... на шею мужикам с рабочими... А то уж волю очень взяли.

Священник. Хорошее дело... Государственное...

Контр-Революция. Дело-то хорошее, сама знаю, да не выходит никак...

(Входит Помещик).

Помещик. Здравствуйте, батюшка.

Священник (подобострастно). Мое почтенье... Здравствуйте!..

Помещик (вынимает из кармана газету и стучит по ней пальцем). Знаете, мамаша, а телеграф принес тяжелые нам вести. Как это ни печально, как это ни прискорбно, но это факт, с которым следует считаться, который в общей перспективе сыграет роль... громаднейшую!.. Я полагаю так, что при современном положении вещей...

Контр-Революция. Да говори скорее, Миша! Не мучай! Уж сколько раз твердила я: „Поменьше слов!.. Поменьше слов!..“ Ну, что случилось?

Помещик. В Западной Европе рабочие устраивают стачки и заражаются идеей большевизма.

Контр-Революция. Больше-визма?

Священник. Ай-яй-яй! (Качает головой). Вот дожили!..

Помещик. Надеяться на помощь иностранцев нам нельзя. Я вижу, тучи собираются и в скором времени должны над нами разразиться, ибо экономическое положение...

Контр-Революция. Миша, пожалуйста, короче!

Помещик. Мамаша, это очень серьезный вопрос. Ибо экономическое положение ставит нас в такое положение, что я не знаю, что и делать... Во-первых, нам ужасно много денег нужно, а во-вторых — обмундированье. На рынках ничего приобрести нельзя.

Священник. Катушка ниток сто рублей...

Помещик. Смотрите, в чем хожу! (Распахивая пиджак, показывает разорванную рубаху). Когда ходил я так?

Священник. Ужасно! (Распахивая полы полукафтанья, показывает худые коленки). Ужасно!..

Контр-Революция. Но что же делать?

Помещик (ходит по комнате). Я тоже думаю над этим. Что же делать? Сражаться? Неохота! Надеяться на божью помощь?..

Священник (качает головой). Бесполезная история!..

Помещик. Вы думаете?

Священник. Бесполезная история...

Помещик (возбужденно). Придется, значит, воевать. Эх, и задам я этим мужичишкам... Стащат всю землю по песчинке... Я покажу такое право, что век скоблиться будут за спиной...

(Входит Купец в суконной фуражке).

Контр-Революция. Стратон, да где ты ходишь? Ушел с утра и глаз не кажет...

Купец. Ты, мать, не знаешь, погоди ругаться. (Подходит к Священнику, наклоняется). Благословите, батюшка! (Целует руку). Делишки наши на мазях. Не все еще пропало! (Становится посреди комнаты). Сейчас ходил я по базару, прислушивался. Конечно, этак незаметно. Наставлю ухо, глазом поверну, как

будто невзначай, и — слушаю. А го-во-ру-у... Товару столько нет. Толкнулся в очередь — и там одно и то же.

Контр-Революция. Да что же говорят-то?

Купец. Всякую-всячину... Ругают...

Контр-Революция. Кого?

Купец. Кого попало.

Контр-Революция. А про меня не слышно?

Купец. Неясно... Есть как будто шопот, но неясно.

Контр-Революция (обиженно). Утешил! Нечего сказать... Мы это слышали давно... Послушай вон, что брат-то говорит. (Показывает на Помещика).

Купец. В чем дело?

Помещик. Во-первых, дело в том, что я есть хочу. Готов отгрызть себе два пальца... Не дашь ли мне рублей пятьсот? Потом поговорим...

Купец. Да где возьму? Ты что? Теперь не прежняя пора. Достал недавно ящик мыла — отобрали.

Священник. Ужасно!

Помещик. Ну, чорт подери; драться, так драться. Завтра же отправляюсь я на фронт. Довольно говорить!.. Пора за дело приниматься. (К Купцу) Ты пойдешь?

Купец. Куда?

Помещик. Не на базар, конечно... Драться с мужиками...

Купец. Что-то мне не хочется! Сукно припрятал я. Так вот продать бы прежде, а? Нельзя повременить?

Священник (поднимаясь). Сукно-о?

Помещик. Нельзя. Иль встанешь снова за прилавок постукивать рублями, иль будешь ямы рыть за четвертак. Любое выбирай! А ждать нельзя. Ибо наше экономическое положение... Прочти, что пишут вот... (Подает газету).

Купец (не принимая газеты, чешет в затылке). Провалиться бы ей.

(Уходит).

Контр-Революция. Всегда вот так. Теперь не прежняя пора; кого пошлешь? Бывало, хорошо: нагонят мужиков и — идут. Не спрашивают — куда, зачем? А нынче калачом их не заманишь. Поди, заставь-ка их сражаться за помещика с купцом. Не тут-то было! Сейчас поднимут на штыки!

Самим уж надо как-нибудь... Самим. А он все метит в сторону. Стратон-то. Мылом хочет торговать. Ну что мне делать с ним?

Помещик. Мобилизовать и больше никаких. Один сражаться я не стану. Где Кузьма-то?

Контр-Революция. Найди поди его. Вчера на мельницу поехал. Мукой торгует все.

Помещик. Я так и знал. Тут жрать вот нечего, а он бумажки копит, дьявол. Тоже—брат. Куска не бросит даром.

Контр-Революция. Уж я и не придумаю, в кого такой он уродился. Уж очень жадный! Недавно видела сама, как деньги он считал. Пудами вешает.

Священник. Хозяйственный мужик.

(Входит Кузьма с мешком на плечах).

Контр-Революция. Ты что, сынок? Ушел и глаз не кажешь.

Помещик. Брат, мне нужно поговорить с тобой.

Кулак. А ну калякай. (Ставит мешок на пол).

Помещик. Видишь ли какая штука... (Наклоняется и пальцем трогает мешок). Тут не хлеб?

Кулак. Я думал, ты другое скажешь. (Берет мешок).

Помещик. Нет, нет... Я это так, попутно, между прочим. Во всяком случае я заплачу тебе... Видишь ли какая штука. Наше экономическое положение с каждым днем становится все более и более катастрофическим, и мы стоим накануне того ужасного дня, когда нас уничтожат... Понимаешь? Совершенно уничтожат.

Кулак. Да мне-то что?

Помещик. То-есть? Во-первых, ты не имеешь ни нравственного ни юридического права отвечать таким образом. Не забывай, что ты мне брат. Это раз. А во-вторых, по своей социальной структуре, мы связаны общностью таких интересов, которые диктуют нам определенно...

Кулак. Ну, понес теперь. Ты говори со мной попроще. Чего тебе?

Помещик. Странный ты человек, Кузьма! Серьезно! Меня ужасно удивляет твой вопрос. „Чего мне надо?“ Да

лично мне не надо ничего. Но мать-то наша... должна же чем-нибудь питаться, а? Как по-твоему? Взгляни, какая стала. Вся высохла с печали... А было время, помню я, когда она была не хуже, чем другие...

Контр-Революция (утирает глаза). Уморите мать-то с голоду, уморите.

Помещик. Кузьма, я говорю с тобой по-братски. Мне ничего не надо. Но вот взгляни на этого страдальца... (Показывает на Священника). Чем он виноват? Лишь только тем, что за грехи молился наши. Раскройте, батюшка, подрясник, не стесняйтесь!..

Священник (раскрывая полы, показывает худые коленки). Ужасно! Заштопать нечем... Сто рублей катушка.

Помещик. Гляди, Кузьма, гляди... Гляди, в каком ужасном положении этот человек... Позор! Позор!

Кулак. Да в чем же дело?

Помещик (удивленно разводит руками). Вот возьми его! Не понимает...

Контр-Революция. Ты не волнуйся, Миша! Скажи спокойно!

Помещик (говорит с расстановкой). Дело в следующем. Я буду говорить реально, объективно. Положение наше — во... (Проводит пальцем по горлу). Понимаешь? То-есть такое положение, что остается брать винтовку, садиться на коней и, с благословенья батюшки, скакать во весь опор на поле битвы... Да, да, Кузьма, на поле битвы, чтобы вышибить ружье из рук, отнявших нашу землю, наши хутора, заводы, фабрики, все то, чем сыты были мы... Скрутим, подтянем их и снова будем говорить: „Иван, подай пальто! Степан, почисть ботинки! Сергей, неси воды!“ Не то... Ты понимаешь? Не то Иваны да Степаны так ударят нас, что мы, брат, будем ползать на карачках... Я завтра же еду в бой. Готовь мне лошадь, зарежь бычка, чтобы силами набраться, и сам готовься тоже. Захватим и Стратона... И вот втроем... Мы им покажем...

Кулак. Та-ак. Значит воевать?

Помещик. Да, да, мы им покажем...

Священник. Хорошее дело! Государственное...

Кулак. А если мне не хочется?

Помещик. Не хочется—заставим...

Священник. Нельзя, Кузьма Вавилыч, надо жить по-братски. Одни остались вы, и мать у вас старушка. Ее хоть пожалейте!

Помещик. Довольно нам играть в бирюльки! Кузьма, не упирайся! Готовь мне лошадь, фураж, провизию и все, что полагается для офицера русской армии. Я сейчас, мамаша, только на минутку. (Уходит).

(Кулак садится на мешок).

Кулак. Какой же я солдат? Ружья в руках я не держал. Муку бы вешать мне...

Священник. Кузьма Вавилыч, вы не бойтесь! При вашей специальности вы можете попасть в хозяйственную часть. В цейхгауз сядете и будете фуражки выдавать солдатам.

Кулак. А ты идешь?

Священник. Иду сейчас молиться о ниспослании победы оружию вашему.

Кулак. Ну, ладно. Я—в цейхгауз. А вот Стратон куда?

Контр-Революция. Какие глупые вы все! Фуражки выдаете? Да где они? Их надо прежде сшить, а из чего? Снимите вот последнюю юбчонку с матери... На-те! (Пробует расстегнуть на себе верхнюю юбку).

(Входит Купец с иконой, за ним идет Погром с огромной дубиной на плечах)

Купец. Мамаша, вот я сподручного привел. Парнишка ничего себе, и если вы позволите, то он наделает делов.

Контр-Революция (смотрит на Погрома). Как будто бы знакомое лицо. (К Купцу) А что он опытный?

Купец (оживленно). Очень опытный, мамаша. В 1905 году работал в городах по Волге, имеет аттестацию.

Контр-Революция. Зачем икону-то принес?

Купец. Да без нее не может он ходить. Обязательно должна икона быть, и лучше, если чудотворная. Да баб с торговцами набрать побольше, ударить в колокола на всех церквах и крикнуть громче: „Православные, спасайте Россию“. Тогда пойдет и он, без этого—не сдвинешь с места...

Контр-Революция (обращается к Погрому). Скажи, голубчик, можешь ты революцию задушить?

Погром (лениво и самодовольно). Было дело, душили...

Контр-Революция. А как работаешь: поденно иль помесячно?

Погром. Поденно.

Контр-Революция. Ну, мы с тобой поговорим. Иди пока!

Купец. Мамаша, вы напрасно. Не лучше ли сейчас же нам приняться за работу.

Контр-Революция. Нет, нет, мы поговорим об этом. Нельзя же сразу. Надо обсудить. Придет вот Михаил, подумаем.

Купец (обращается к Погрому). Ну, что ж, шагай покелева. (Погром поворачивается). Постой! (Лезет в карман). На-ка вот. Хвати иди кислушки... для храбрости...

(Погром уходит).

Контр-Революция (к Купцу). Стратон... ты давеча сказал, что у тебя сукно имеется.

Купец. Мало ли что у меня имеется.

Кулак. Жидомор, напрятал там!

Купец. А ты муки-то не напрятал?

Контр-Революция. Стратон... Кузьма... (Плюет). Тьфу! Да что вы—маленькие, что ли? Теперь вам только и ругаться. А вы бы подружнее жили. Придут большевики—последнее отнимут...

Купец. Не дам сукна... Не дам...

Кулак. А я—дурак, давать вам буду хлеба?

Священник. Стратон Кудимыч! Кузьма Вавилыч! Слушайте!

Кулак. Ты, батюшка, постой. У нас сурьезные дела...

Купец. Не дам сукна!

Кулак. Не дам муки!

(Входит Помещик в офицерском мундире, на плечах сияют погоны, на левом боку—шашка, на правом—револьвер. В руках—две винтовки).

Помещик. Ну что, готово?

Контр-Революция. Поди вот с ними, потолкуй! Один кричит—муки не дам, другой кричит—сукна не дам. Какая тут война?

П о м е щ и к. Кузьма, лошадь готова?

К у л а к. А ты ее купил?

П о м е щ и к. Кузьма! Я очень нервный стал. Имей в виду. Хотя ты мне и брат, в одной утробе мы лежали, но ты своим упрямством вынуждаешь принять крутые меры. Я не потерплю неисполнения приказа. Не слышал разве ты, что я тебе сказал? Ну?

К у л а к. Откуда ты свалился?

П о м е щ и к. Брат, ты слишком пользуешься моим терпеньем. Иди, и чтобы была готова лошадь, фураж, провизия и все, что полагается...

(Кулак упирается... Помещик берет его за плечи, повертывает и коленкой в зад выталкивает в дверь).

П о м е щ и к. С таким дубьем нельзя иначе. Разумным словом их не убедишь!.. Чорт знает! (Нервничает, бегает по комнате). Тут гибнет все, последние надежды пропадают, а он сидит, как идол, на мешке и знать не хочет ничего! Стратон! (Видит оставленный Кулаком на полу мешок и, подойдя к нему, щупает). Как будто хлеб... (Развязывает мешок). Стратон, ты обучался строю? Винтовкой можешь управлять? (Вынимает каравай). Ого! Мамаша, видите? Пшеничный! (Ломает кусок).

К у п е ц. Постой, Михайла, так нельзя. Я тоже есть хочу. И батюшка, наверное, голодный...

(Помещик дает им по куску).

С в я щ е н н и к. Совсем не стали мне носить на панихиды. Бывало во-о лепешек сколько наберешь. И лошадь кушала лепешки...

П о м е щ и к (лезет в мешок и вынимает еще каравай). Ну и подлец! Мамаша, видите? Сынок-то ваш. Напрятал и молчит.

С в я щ е н н и к (к Помещику). А-а... Скажите, пожалуйста, там ниток нет?

П о м е щ и к (Купцу). Так как же, брат, придется взять ружье тебе?

К у п е ц. Взять-то можно, да что я буду делать с ним?

П о м е щ и к. Стрелять и бить прикладом.

К у п е ц. Я б лучше здесь, в тылу остался. Тяжел я для войны...

Помещик. Стратон! Держи. (Дает ему винтовку).

Купец (беря винтовку). Дожили...

(Входит Кулак).

Кулак (Помещику). Иди, садись...

Помещик (дает винтовку Кулаку). Держи!

Кулак. Куда ее?

Помещик. Сейчас пойдем в поход. Построю вас повзводно, немножко обучу приемам — и отправимся. А батюшка молебен нам отслужит напутственный...

Священник. Я с удовольствием...

Контр-Революция. Миша! Забыла я сказать. Погром тут приходил. Быть может, он поможет нам.

Помещик. Погром? Я думаю, пока не стоит. Мы этим козырнуть успеем. Сейчас же нужно нам построить армию. Становись! На первый, второй рассчи-тайсь!..

(Купец и Кулак стоят недоумевающе).

Помещик (объясняет). Военная служба прежде всего требует порядка, дисциплины и точного беспрекословного исполнения приказов. В строю вы должны стоять в струнку. Стратон, подбери живот! Кузьма, не хлопай глазами! Звать должны меня вашим благородием. Понимаете? Военная дисциплина не признает родства. Брат ли ты мне, отец ли, но раз я начальник, вы должны при разговоре со мной стоять под козырек.

(Кулак смотрит на развязанный мешок).

Кулак. А где же хлеб-то? Черти! (Идет к мешку). Весь слопали!

Помещик. Кузьма! Ты забываешься!

Кулак. Дьяволы!..

Помещик. Кузьма! Вернись назад, пока не поздно, не то ты будешь арестован. (Кулак не слушает). Стратон, вяжи его! Ты будешь унтер-офицером. Слышишь?

(Купец и Помещик берут Кулака за руки, он вырывается).

Контр-Революция. Ну, дети, вот с ними повоюй!

Священник. Непокорность есть великий грех...

(Входит Джон)

Джон (стоит в дверях). Скажите, я сюда попал?

Помещик. А-а... Извините пожалуйста!.. Просим, просим. (Идет навстречу Джону, протягивает ему обе руки). Мамаша! Джон— капитал из Западной Европы.

Контр-Революция. Прошу, голубчик, проходите!

(Священник, поднимаясь, дует на табуретку, оправляется, разглаживает бороду).

Джон. А я иду и слышу крики. Туда ль попал? (Подходит к Контр-Революции и целует ей ручку). Как ваше здоровье, почтенная мамаша?

Контр-Революция. Мерси, голубчик. Бока все что-то ломит... Простудилась... Садитесь... Мы так давно вас ожидали... Миша, подай им табуретку.

Священник (бежит с табуреткой). Ваше сиятельство, присядьте!..

Джон. Насилу я отыскал вас. Куда забились! Я думал, вы в хоромах, а вы в какой-то комнатушке сгрудились. Ищу глазами надпись—нет. Ни надписи ни номера квартиры!

Помещик. Нельзя, господин Джон... По некоторым соображениям. Вы понимаете?

Джон. Да, да, я понимаю...

Контр-Революция. Уж очень строго. Как чуть и— в чрезвычайку...

Священник. Вообще теперь... тру-удно...

Купец. Недавно вытащил я ящик мыла—и что же? Отняли! И до базара не донес...

Кулак. Зарез пришел... Беда!

Джон. Да, да, я понимаю. (Обращается к Контр-Революции) Ну как, работа подвигается?

Контр-Революция (со слезами). Плохо! Петли рвутся все. Голубчик, не оставь меня, старуху, с малыми детьми. Замучилась я с ними...

Джон. А много их у вас?

Контр-Революция. Трое. (Кричит) Кузьма, Стратон, идите ближе, да поздоровайтесь вот с дяденькой. Гостинчика он даст...

(Впереди идет Купец, за ним—Кулак).

Джон (любезно). Ну, ну... Чего хотите, а? (Шарит в карманах).

Священник (подбегая сзади к Купцу с Кулаком). Ниток просите, ниток... И деньжонок на богадельню для безработных священников...

Помещик (выступая вперед). Господин Джон, наше экономическое и политическое положение вынуждает нас браться за оружие. Нас ждет ужасный день, когда придется взять нам в руки молоток, топор или лопату и, обливаясь потом, трудиться наравне с другими, чтобы с голоду не сдохнуть. Вы извините, Джон, я выражаюсь грубо, но я расстроен этой перспективой, и мягкость выражения бессильна выразить весь ужас... Вот этими руками (показывает руки) браться за лопату, стоять у горна с молотком... Вы понимаете весь ужас, Джон?

Контр-Революция. Миша, не волнуйся!

Помещик. Мамаша, мне трудно говорить спокойно. Я сроду не держал в руках какой-то там лопаты. Ведь это же мужицкое занятие. И вдруг—извольте... Я работать должен... (Бегает по комнате).

Джон (кивает головой). Да, да, я понимаю.

Помещик. Извините, Джон, но мы решили драться, чорт возьми. Нам лучше умереть, чем в эдаком позоре оставаться. (К Кулаку) Не правда ли, Кузьма?

Кулак (чешет в затылке). Ты только егозишься, а драться-то меня заставишь. Знаю я...

Джон. Что он говорит?

Помещик. Он говорит: „Умрем, но не отступим“.

Джон. Меня волнуют эти чувства. Я очень рад услышать здесь.

Священник. Ваше сиятельство, у русского народа нет другого чувства. Он вес горит желанием восстановить нарушенный порядок...

Джон. Да, да, я знаю...

Помещик. Господин Джон, я не хочу скрывать: нас мало и нам нужна поддержка. Могу ли я рассчитывать?

Джон. Без сомнения. Я крайне заинтересован вашими делами. У нас в Европе тоже... знаете... не все спокойно... И если вы не победите, то мне придется туго... Заставят тоже взять лопату...

Контр-Революция. Голубчик, пришли хоть чернокожих тысяч двадцать! На них я не надеюсь (показывает на Купца с Кулаком). Стратон все время в брюхо рос и рылся за прилавком. Кузьма избаловался, привык сидеть за самоваром и пить в прикуску чай с урюком. Какие воины они? Надень на них ружье с подсумком — рот разинут. А этот — белоручка (показывает на Помещика). Ему бы только все командовать.

Помещик. Мамаша!

Контр-Революция. Да что там, Миша, разве я не правду говорю? Чего скрывать? Хотя и дети вы, но неудачники. (Плачет).

Джон (вскакивает). Мамаша, голубушка... Помилуйте. Я... Да мы... (Суетится).

Контр-Революция. Замучилась я с ними. Всю жизнь ведь прожили они за полицейскою спиной, теперь же не за кем укрыться, а мужичишки лезут на рожон. Вы, говорят, должны работать. Не все вам дурака валять. И в них самих согласья нет... в сыновьях-то... Все врозь. Никак не стащишь в кучу. Особенно Кузьма... Вон этот вон... С большой-то бородой (показывает). Пришли, голубчик, не оставь...

Джон. Да, да, я попробую... (Вынимает блок-нот и что-то записывает). Я попробую...

Священник (осторожно подходит к Джону, улыбается, гладит бороду, отряхивается, легонько кашляет).

Джон. Вы что?

Священник. Видите ли... Я очень извиняюсь, ваше сиятельство, что утруждаю вас смиренной просьбой. Матушка у меня... Кончила епархиальное училище... С образованьем женщина.

Джон. Да, да, я понимаю...

Помещик (шепчет Священнику сзади). Оставьте, батюшка, потом...

Священник (слегка отталкивает его рукой, легонько кашляет). Ваше сиятельство, и я и матушка усердно просим вас: войдите в наше положенье... (Распахивает полы полукафтанья). Заштопать нечем... Сто рублей катушка... Нельзя ли нам прислать из Западной Европы ниток черных... Матерьи кой-какой и кожи на ботинки.

Кулак. Белых тоже нет. Ни у кого... Я нынче исходил базар и так и этак...

(Слышится отдаленное пение, постепенно усиливается).

Помещик. Господин Джон, позвольте мне заметить: нитки и булавки—все это мелочь. Нам нужно главное — оружие: винтовки, пулеметы, танки, пушки и деньги. В моих карманах пусто. (Выворачивает карманы). А эти шпульки... Не так уж важны. Можно потерпеть...

Джон. Э-э... Видите ли... Я думал было выслать вам двенадцать кораблей с булавками... Ну, там, конечно, будут и другие галантерейные товары. И кажется... Да, да... Немного кожи, гвозди, дамские гребенки...

Священник (кланяется). Покорнейше благодарим, ваше сиятельство.

Джон. Да-а. Я думал было, но-о... Вы понимаете, друзья. Я только собирался... Но я пришлю... Обязательно. Скажите матушке, я пришлю...

Священник. Покорнейше благодарим, ваше сиятельство...

(Пение усиливается).

Контр-Революция. Как будто бы поют французы. (Прислушивается). Ну, да... Либо англичане...

Джон (слегка вздрагивая). Все может быть. Я распорядился выслать несколько десантов на помощь вам...

Помещик. Ур-ра-а-а! Господин Джон, мы так обязаны. Поверьте. Мы не забудем ваших одолжений...

Священник. Господь бог не оставит вас.

Помещик (потирая руки, бегает по комнате). Ну, мужичишки, берегитесь, чорт возьми!.. Теперь мы вам дадим! Стратон, бери ружье! Кузьма, готова лошадь мне? Еще бы музыкантов с трубами и марш военный. (Поет) Тра-та, та-та-та-та-та...

Священник. Не угодно ль будет отслужить молебен?

Помещик. Обязательно.

Кулак (подходит к Джону). А сена вам не надо будет для войсков?

Джон. Сена? Какого сена?

Кулак. Хорошее сено, луговое. Картофеля, муки... Я доставлю...

Купец (подходит к Джону). Быть может, сукнеца хорошего угодно для мундиров? Не дорого возьму.

Помещик. Стратон, Кузьма, берите ружья. Идемте встретим дорогих гостей... Мамаша, приготовьтесь... Банкет бы нам еще устроить. Кузьма, не дашь ли ты муки пудов пятнадцать?.. А я бы речь сказал...

Священник. Ну, я пойду надену облаченье...

(За дверями слышится пение „Интернационала").

Священник (выходит и снова вбегает). Ваше сиятельство!.. Госпожа Контра! Братцы!.. Кузьма Вавилыч!..

Все. Что? Что? В чем дело? (Окружают Священника.)

Священник. Идут... Боже мой!.. Куда деваться мне?.. Идут...

Помещик. Да кто? Скажите толком.

Священник (заикается). Боль... боль... Боль... Боль-шевики. (Последние два слога громко выкрикивает).

Контр-Революция (хватает себя за грудь). Ах!..

Джон (хватает себя за голову). Сударыня, что с вами?

Контр-Революция (роняет вязание из рук). Погибли мы!..

(Слышатся ружейные выстрелы).

Кулак (в изнеможении садится на пол). Капут топерь!..

Купец
Помещик { (бегают по комнате, обгоняя друг друга). Да где же двери, а? Почему нет других дверей?

Контр-Революция (хочет бежать, но запутывается в своих петлях и падает на пол). Пропали мы...

Джон. И я, дурак, ввязался в русские дела. Сидеть бы дома... (Бегает по комнате, кричит) Нельзя ли где укрыться? Послушайте! (Открывает сундук, на котором сидела Контр-Революция, торопливо лезет в него и закрывает себя крышкой).

Купец (бегая). Ох! Ох! Пустите христа-ради! (Открывает крышку).

Джон (из сундука.) Не лезь!

Помещик (подбегая к сундуку). Господин Джон, это нечестно. Нам хватит места всем... (Лезет в сундук, Купец за ним). Стратон, не пачкай ты меня ногами!

Кулак (сидит на полу). Капут топерь!

Священник (сидит в уголке; закрывшись руками, поет). По-од тво-о-ю ми-илость при-бе-га-а-ю...

(В комнату входят рабочие в промасленных блузах, с красными знаменами в руках, вооруженные).

1-й рабочий. Где здесь подлая старуха, вяжущая петлю на шею крестьян и рабочих?

2-й рабочий. А где подкрашенный старик из Западной Европы?

3-й рабочий. Да здесь гнездо!

4-й рабочий (увидя Священника). Ты кто? (Около них собираются другие).

Священник (стоит перед ними на согнутых, пляшущих ногах). Я... Я... Постойте... Священник я из вознесенской церкви... Иерей.

Кулак (стоит на коленях перед другой группой рабочих, кается). Бес попутал, робята, ей-богу! Уж как мне не хотелось с ними — соблазнили... Хлебопашеством занимались мы... Муку голодным продавали по тысяче рублей за пуд... Беспартейные мы...

5-й рабочий (подойдя к сундуку, поднимает крышку). Товарищи, смотрите, вот они: купец, помещик и старик из Западной Европы. Лежат как будто неживые и не дышат.

(К сундуку подходят рабочие).

Голоса. Тащи оттуда их!...

(Двое рабочих тащат Помещика).

Помещик. Стратон, держи меня!.. (Обнимает Купца обеими руками).

Купец (кричит). О-о-о-й... (Хватается за Джона).

Джон. Позвольте, это же нахальство... Я очень слабый...

1-й рабочий. А ну, товарищи, дружнее!

(Четверо рабочих становятся цепью друг за другом, поют)

Э-эх, дубинушка, ухнем,
Ра-аз-зеленая сама пойдет,
Сама пойдет...
Подернем, подернем
Да у-ухнем...

(Вытаскивают сразу Помещика, Купца и Джона и вываливают их на пол).

Занавес



ПРИЛОЖЕНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ А. С. НЕВЕРОВА

Пролетарская

Если взял ты молот — бей!
Не жалей!
Счастье даром не дается,
Счастье в кузнице куется
Под ударом сильных рук...
Не тумань печалью глаз,
Не смущай себя молитвой...
Перед каждой новой битвой,
Помни каждый день и час:
Побеждает только тот,
Кто с плеча, с размаха бьет;
Кто не просит у небес
Ни поддержки, ни чудес...
Видишь искры? Слышишь стуки?
Это цепи рабства бьются,
Новой жизни дни куются...
Засучай скорее руки
И с плеча сильнее бей.
Не жалей!
Не тужи, что под ударом
Загорится мир пожаром.
В нем погибнет только тот,
Кто несет народу гнет.

Сапог

Басня

Не знаю, с чьих великих ног
Попал к сапожнику сапог,
Но только все его ухватки,
Подбор, носок и две заплатки
Имели вид такой,
Что он породы не простой...
Он жался, ежился и злился
И совершенно не мирился,
Что по болезни очутился
В компаньи рваных башмаков...
То сядет, ляжет, то привстанет,
То на сапожника вдруг взглянет;
Брюзжит, ворчит и все бормочет
И на колодку лезть не хочет...
Вот каков!..
Когда ж сапожник, взявши шило,
Воткнул его в худое рыло, —
Бедняга обмер от нахальства...
Такого смелого канальства
Не видел он от роду,
Хотя и прожил больше году...
— Ах ты, болван! Ах ты, вахлак!
Вскричал рассерженный сапог:
— Да как ты смел? Да как ты могъ?
Ведь я тебе, брат, не башмак
С мужицких ног!..
Нахал!..
Ты разве глух, что не слыхал?
Ведь мой папаша — генерал...
А ты мне тычешь в рыло
Какое-то там шило.
Смотри... Уж как бы не влетело
Тебе за этакое дело.

А Клим сапожник... Вот злодей!..
Достанет с полочки гвоздей,
Проколет шилом и — колотит...
Не хуже, чем снопы молотит!..
Когда ж схватил его клещами,
Как зубами,
За подметку,
Уж тут сапог
С господских ног
Как крикнет во всю глотку:
— Дя-ядя Клим!
Забудь про старый ты режим!..
— Ну, ну... Не бойся!.. Не зарежу...
Смеется Клим
Над ним,
Играя молотком...
— Я только нос тебе обрежу —
Уж очень много спеси в нем!..

СТАТЬИ А. С. НЕВЕРОВА

О коммунах

I

Много говорят о коммунах в деревне, но не все еще знают о них... Многим неопытным коммуна кажется чем-то страшным, пугающим. Крестьяне смотрят на нее как на свою разорительницу и думают, что, вместо хорошей жизни, она несет с собой горе, нищету и несчастье... Конечно, виноваты тут не сами крестьяне, а темнота, ослепившая их. Повесили им заслонку на глаза, и они думают, что, кроме как они жили, иначе и жить нельзя. Вот мы и побеседуем: можно ли крестьянам жить иначе, и какая от этого польза будет. Начнем с маленькой сказки про отца с сыновьями.

„Отец принес веник и велел сыновьям ломать его. Как ни ломали сыновья, но переломить не могли. Тогда отец развязал веник и велел ломать по одному пруту. Сыновья легко переломали весь веник“.

Маленькая сказка, как будто бы детская, но смысл в ней глубокий. Крестьяне, живущие своим хозяйством, каждый сам по себе,—это те же прутья из развязанного веника. Все они надеются только на себя, на свои руки, и каждый из них незаметно погибает. На своих полосах в 5—10 сажен им ежегодно приходится путаться в межах да в перепаханных друг у друга бороздах. А мы знаем, сколько бывает греха из-за этих борозд... Сколько пропадает и времени напрасно на одни переезды с загона на загон. Знаем, как и обрабатываются эти полосы. Отощавшая за зиму скотина у крестьянина-одиночки не в силах поднять землю поглубже, лижет одну лишь вершинку и, вместо хлеба, на плохо обработанной земле родится — овсюк, пырей и полынник. А другая беда в том, что у захудалого крестьянина сбруи не находится во-время. Пахать бы скорее, сеять, а он бегает по соседям, собирает

вожжи, колеса. Этого не случится—третья беда подкарауливает крестьянина. В самую страдную пору прихватит его какая-нибудь немочь. Хлеб путается на корню, зерно осыпается, или дожди ударят не во-время...

И если рассмотреть хорошенько всю жизнь крестьянскую, то видно, что нужда с недостатками гнут и ломают крестьянина с самого детства и вплоть до могилы. И сколько ни плетут крестьяне свой плетень, но заплести никак не могут. В любой деревне так: пять—десять дворов набиты скотиной; пять—десять изб под железной крышей, с петухами на карнизах, а по бокам около них — голь перекатная... Это — не пьяницы и не лодыри... Нет! просто-напросто беспомощные, задерганные люди. Они работают больше всех, поднимаются раньше всех, но сломленные и обмозоленные нуждой они не в силах поставить себя на ноги...

Есть между ними и так называемые „середняки“. Этих нельзя назвать богачами, но нельзя назвать и голью. С виду они живут как будто бы ничего себе. Однако, и эти люди не могут быть спокойными за завтрашний день. Им все время приходится думать: „Как бы не свернуться? как бы не упасть?“

А упасть им легко. Стоит только захворать не во-время, немножечко подшибиться, обмануться в лошадях, пострадать от засухи — и хорошее житье развалится... Но помочь будет некому. А если какой кулак и пожалеет, даст деньжонок, то это не от доброго сердца. Заездит потом.

Трудно жить в одиночку каждому, тяжело. Но плохо жить никому не охота и каждый старается устроить свою жизнь получше. Кто налегает на работу, не зная меры, кто старается взять хитрецой, мошенством. Меня обманывают, и я обманываю... Мне подставляют ногу, и я подставляю. И в этой погоне за хорошей жизнью люди теряют и стыд и совесть.

II

Как же по-другому можно жить? Да, об этом надо подумать. Пора уже бросить старинку и попробовать жить и работать не в одиночку, каждому для себя, а сообща, одной крестьянской семьей. Такая жизнь и работа одной семьей и называется коммуной. Это не такое страшное слово и бояться тут нечего. Боятся коммуны одни богачи, потому что она не дает им шириться и забирать богатства в свои руки. Коммуна среди крестьян существует давно в упрощенном виде, но только называют они ее не коммуной, а по-своему — помочью. Например: у вдовы или у бедняка нет лошади. Им не на чем вспахать, засеять и убрать поле. Соседи и родственники запрягают

своих лошадей и едут помогать им. Это не настоящая коммуна, о которой мы будем говорить, но все-таки и такая помощь друг другу составляет уже некоторую долю коммуны...

В настоящей коммуне товарищеская помощь друг другу не случайная, не временная, а постоянная, положенная в основу всей жизни. Как только крестьяне пожелают составить коммуну, то труд их становится общим. А чтобы им не работать каждому на своих полосах, где очень много времени тратится напрасно, то они эти полосы складывают вместе и вырезают себе в обществе целое поле в несколько десятин. Значит и земля у них становится общей. С общего согласия они и работают на ней. Если же у них общее поле и общий труд, то само собой понятно, что общими должны быть и земледельческие орудия: плуги, бороны, сеялки, молотилки и т. д.

Нам скажут: какие могут быть сеялки и молотилки у бедных крестьян? Да, теперь у них нет ничего. Теперь они обрабатывают свою землю кое-как, сеют из горсточки, молотят в два цепа, но когда они войдут в коммуну, им не трудно будет завести и сеялки, и молотилки, и жнейки, и все те орудия, которые сберегут им и силу и время и дадут возможность лучше и скорее обрабатывать поле. А раз орудия будут покупаться на общие деньги, то и сами они будут общими, неделимыми. Ну, а лошади и другой скот... Тоже должны быть общими? В настоящей, правильно-поставленной коммуне должно быть так. Рабочий и другой скот не должны составлять собственности. Ведь каждый бедняк только для того и имеет мелкую собственность, чтобы спасти свою семью от голода и нищеты. Когда же он будет жить в коммуне, в товариществе с другими, ему не будут угрожать ни голод, ни нищета, ни случайные бедствия. Он будет не один. Товарищи не бросят его, не покинут в трудную минуту, и иметь тогда собственных лошадей и коров нет никакого смысла. Общие лошади будут работать общую работу в общем хозяйстве; общие коровы будут давать общее молоко, масло и мясо. Что нужно, то и бери тогда каждый из общего хозяйства. Но если это так странно для крестьян, то они могут сделать и иначе. Это их воля, и никто им мешать не будет. Входя в коммуну, они могут оговориться, чтобы каждому иметь свою скотину.

Теперь нам скажут: „Все это хорошо, но как с хлебом быть?.. Засеем-де мы общее поле, обработаем его все вместе, обмолотим, а дальше-то? Делить-то как?..“ Конечно, прежняя жизнь приучила крестьян каждую малость делить, и не просто делить, а еще с руганью, с дракой. И многие, работая коммуной, все-таки в конце концов будут думать о том, как бы им поделить потом хлеб. Это уже плохие коммунары, которые

станут пересчитывать зерна. Настоящие товарищи-коммунары делают иначе. Все, что им уродит общее поле и даст общий скот, они складывают в общий магазин, в общий амбар и берут оттуда столько, сколько нужно, а излишек обменивают на обувь, на одежду и на другие предметы, нужные для членов коммуны. Они никого не оставят голодным, никто у них не будет ходить и разутым. Но если людям и так не нравится, то они опять могут с общего согласия выработать общее правило, как поступать им с хлебом, полученным с общего поля. И здесь никто не будет им мешать... А делить урожай можно по-разному: по работникам и по едокам. Возьмем такой пример. Работает в коммуне семья из трех человек: мужа, жены и взрослого сына. При делении урожая она получит три части. Другая семья работает из пяти взрослых человек и она получит уже пять частей. Но такой дележ не совсем правильный. Предположим, что в этой же коммуне работает какая-нибудь вдова, а у нее трое малолетних детей — не работников. Они получат только одну часть, а есть будут четыре рта. Значит им хлеба не хватит. Это будет не по-товарищески, да и не выгодно. Нынче вдова получила один пай на четыре человека, а в будущем выйдет наоборот.

Тот, кто получит нынче на троих три пая, в будущем получит только один. Почему? Да очень просто. Захворает кто-нибудь, выйдет из работы на лето, вот и получай тогда на целую семью столько, сколько приходится на одного работника.

Можно и по-другому делить—по едокам.

Например: во всей коммуне имеется взрослых и малолетних едоков 100 человек. Из расчета на сто человек в общий амбар и откладывается такой запас продуктов, чтобы их хватило до нового урожая. Из этого запаса каждая семья берет себе столько, сколько ей нужно. А лишний хлеб продается или обменивается государству на разные товары заводского и фабричного производства. Полученные товары делятся по числу работников коммуны. Не едоков, а уже работников. Но и этот способ деления не совсем правильный. При таком способе хлеб получают все, и взрослые и малолетние, а товару малолетние не получают. Самый лучший товарищеский способ такой, когда и хлеб и товары, приобретенные на хлеб, потребляются всеми членами коммуны постольку, поскольку их нужно для каждого. Коммунарам не следует смущаться тем, что моя работа перейдет на чужих ребятишек. Ведь коммуна строится не на один год. Нынче мое зерно съели другие, а на будущий год, может быть, и мне придется съесть чужое зерно.

Но оговариваемся еще раз: как пользоваться урожаем в коммуне и как делить его, все это—дело самих коммунаров. Как постановят сами, так и будет. Во внутреннюю жизнь к ним никто вмешиваться не станет. Если же крестьянам не захочется сделать все хозяйство общим, побоятся они сразу перейти на новую жизнь одной семьей, то теперь же, немедленно им следует сделать из своих полос общее поле и вести на нем общую обработку совместно друг с другом. Сделать это следует вот почему. Советская власть всем крестьянам дала земли, но не все могут взяться за свое хозяйство. Многие крестьяне совсем безлошадные, у многих нет сельскохозяйственного инвентаря. Приобрести теперь каждому для себя плуги, сеялки, косилки, веялки и т. д. нет никакой возможности. Все это не только дорого, но и запасу лишнего нет, чтобы удовлетворить каждого в отдельности. Если же крестьяне будут работать несколько человек на общем поле — коммуной, то советская власть будет иметь возможность в каждую коммуну дать необходимый инвентарь и машины. Оставаться же крестьянину попрежнему с одной лошаденкой и с поломанной сбруей, это значит — и с землей, да будешь без земли и только в конец загадишь ее... Работая же сообща большим хозяйством, они, как мы уже сказали, легче и скорее получат необходимые орудия и машины, а работа на машинах не только съэкономит им время и силу, но и даст возможность лучше обработать поле. А лучшая обработка даст лучший урожай. В каждую коммуну будут присылаться советские агрономы, которые и станут разъяснять крестьянам, как вести правильно сельское хозяйство.

Некоторые, пожалуй, скажут:

— Куда же мы время-то будем девать, если будем работать машинами?

Да. Но ведь жизнь состоит не только в том, чтобы работать не разгибаясь и не покладая рук. Человек должен учиться и все знать, чтобы не быть слепышом. Он должен знать не только то, что делается у него в деревне, но и то, что делается во всем мире, а для этого он должен читать книги, газеты, а на такое чтение нужно время. У крестьянина-одиночки нет времени для чтения книг и газет, и он живет вслепую, ничего не видя, ничего не зная. Кроме этой умственной работы, не мало найдется и другой. Поглядите в деревню: там грязь, овраги, пустыри, перед окнами изб нет ни одного кустика. И все это оттого, что у крестьянина не хватает времени заняться всем этим, чтобы поставить себя в чистоту и опрятность...

— Ну, это правильно,—скажут крестьяне,—но разве затащишь нашего брата в коммуну?

Затаскивать в коммуну никого не следует насильно. Коммуна только и хороша тогда, когда люди входят в нее добровольно, по доброму желанию. До сих еще пор многие пугают неопытных, что советская власть будет всех записывать в коммуну. Хочешь — не хочешь, а иди. Это — неправда. Советская власть отобрала у помещиков землю и сказала крестьянам: „Вот вам земля! Трудитесь. А так как среди вас есть много бедных, слабосильных, то работайте и живите артелью, коммуной. Тогда вам легче будет. Кулаки не осилят вас. А если коммуной не хотите, работайте в одиночку. Воля ваша! Неволить не будем...“

Восьмой Всероссийский Съезд коммунистической партии, на заседании своем в марте месяце нынешнего года, прямо заявил, что „те представители советской власти, которые позволяют себе употреблять не только прямое, но хотя бы и косвенное принуждение в целях присоединения крестьян к коммунам, должны подвергаться строжайшей ответственности и отстранению от работы в деревне“. Из этого ясно видно, что советская власть никого не принуждает итти в коммуну против своей воли, а предлагает вступать в нее желающим добровольно.

Многие еще боятся лентяев в коммуне. Вот они, мол, заберутся в нее и будешь батрачить на них. Это тоже неправда. Раз советская власть никого не гонит в коммуну насильно, то крестьяне, вошедшие в нее добровольно, увидят, кто и каков работник. Если среди них окажется лодырь, то они в любое время могут исключить его из коммуны. А для того, чтобы в коммуне был порядок и свой закон, члены-коммунары могут составить свой устав, как это бывает, например, у членов потребительской лавочки, а этот устав и будет служить для них законом, которому они и должны подчиняться.

Конечно, трудно перечислить все выгоды от общего коммунального хозяйства, но если крестьяне захотят войти в коммуну, они увидят, что она несет с собой беднякам не горе и нищету, а светлую, хорошую жизнь...

Сознательные крестьяне уже поняли это и с единоличного хозяйства переходят на общее, работают сообща. С тех пор, как в России установилась советская власть, очень много образовалось коммун по селам в разных губерниях. И совсем не нужно ждать, пока вся деревня согласится перейти в коммуну. Коммуну могут образовать и 5, и 10, и 20 дворов, а уже потом, глядя на них, к ним сами пойдут и остальные — неверующие. Лиха беда только начало положить... Ведь что греха таить! Темные мы люди! Мы когда-то и плугов боялись и думали, что они—от антихриста. Вот точно так же теперь неопытные

боятся и коммуны. А придет время, увидим, как хорошо и легко живется в коммунах, тогда и посмеемся над своей старой жизнью... Тогда уж и насильно не затащишь нас в старые оглобли...

Итак, товарищи, в добрый час!

Деревня и просвещение

Царское правительство покоилось на народном невежестве. Чем народ был безграмотнее, тем лучше было для самодержавия, ибо безграмотный народ являлся той самой „скотинкой", от которой питалась самодержавная челядь. Царское правительство больше всего боялось просвещения для народа и всячески тормозило его. Единственным источником, из которого деревня могла черпать свои знания, являлась только начальная школа. Но она была связана по рукам и ногам. Учителей заставляли преподавать не то, что могло открыть глаза народу, а то, что могло ослепить народ. Винная лавка занимала лучшее положение, чем народная школа. Для винной лавки строили хороший каменный дом с светлыми сухими комнатами, а народная школа ютилась кое в чем, иногда — в грязной, нетопленой избе. О книгах, газетах, о библиотеках с читальнями и о разумных культурных развлечениях для крестьян нечего было и говорить...

Высшее и среднее образование для деревенской бедноты было совсем недоступно. Им пользовались только дети богатых кулаков.

В первый год революции правительство Керенского тоже ничего не сделало в области народного образования. В губерниях, где в „обновленных" земствах наполовину сидели старые цензовики-гласные, строились только одни предположения, а самое дело народного просвещения в сущности не подвигалось ни на шаг. Говорили, что „нам пока еще не до широкой постановки образования, с этим мы успеем, это будет потом" — и т. д. И только с тех пор, как у власти встало рабоче-крестьянское правительство, оно на ряду с другими заботами о трудовом народе поставило себе в обязанность заботу и о его просвещении. Рабоче-крестьянское правительство на ряду с усиленной деятельностью в области действительного народного образования открыло деревне возможность самой развивать это дело собственными силами. Это и понятно! Советская власть — власть рабочих и крестьян. Она покоится на доверии и сознании широких трудовых масс. Она привлекает всех рабочих и

трудовых крестьян к общему строительству новой коммунистической жизни. А так как для всякого строительства нужны знания, то советская власть всеми средствами и старается прийти на помощь деревне. В настоящем беглом очерке мы касаемся работы самой деревни в области своего просвещения.

Уже и теперь мы видим, как бедняки-крестьяне по селам, главным образом, крестьянская молодежь жадно стремится к свету. Всюду открываются просветительные кружки, народные дома, избы-читальни. Устраиваются собрания, читаются книги, газеты, идут беседы, ставятся спектакли. Богат трудящийся класс духовными силами, и теперь ему, освобожденному из-под векового гнета, хочется до всего дойти самому и выйти из того невежества, в какое посадило его царское самодержавие. Если указывать примеры, рисующие деятельность новой деревни в Советской России, то даже трудно будет и перечислить их все. Но на некоторые мы все-таки укажем. Вот:

> В селе Губин-Угол, Тверской губ., организовался культурно-просветительный кружок „Живые волны". При кружке имеется библиотека, читальня и клуб, куда в свободное время собираются крестьяне для чтения газет и книг.

В селе Троицком, Тамбовской губ., в культурно-просветительный кружок, кроме молодежи, стали записываться и пожилые крестьяне. В селе Путятине, Рязанской губ., кружок успел уже поставить несколько спектаклей и музыкальных вечеров исключительно своими силами. Культурно-просветительным кружком деревни Дергуновка, Самарской губ., почти каждое воскресенье ставятся спектакли, читаются лекции по сельскому хозяйству и здравоохранению.

А вот что пишет крестьянин М. Лопаткин из Слободского уезда:

> Пришлось мне побывать на масленице в деревне Веселово, Совинской волости. Проходя по улице, я очень удивился, не увидев на ней ребятишек в возрасте так лет 13—14. Интересно мне стало узнать, чем занимаются теперь эти ребята. Захожу в одну избу, вижу — собрались ребятишки в кучу, один из них читает газету, полученную из культурно-просветительного кружка, а остальные слушают и поясняют друг другу, если что непонятное встретится.

Разбирая хотя бы эти примеры, видишь, насколько сильно желание у крестьянской молодежи приобщиться к иной, лучшей жизни. Раньше она, не зная, на что употребить свободное время, шаталась с гармонью по улице, устраивала драки, пьянствовала, теперь у нее — другие, разумные развлечения. Книги раскрывают перед молодежью новую жизнь, новых людей, сеют новые мысли. Молодежь всегда чутка к новому и прекрасному, только

укажи дорогу, и она охотно меняет улицу на народный дом, гармонь — на книгу и газету, учится, думает и расширяет свои знания. Добрые семена не пропадают даром и дают свои всходы.

Так в деревне Проствице, Могилевской губ., крестьяне постановили налагать штраф на тех односельчан, которые будут сквернословить в публичных местах. Постановление это многие крестьяне вывесили на своих избах. Примеру их последовало и ближайшее село — Мокров. В Новосельской волости, Владимирской губернии, культурно-просветительный кружок открыл библиотеку, курсы для неграмотных и курсы рукоделия. В Монаховской волости, той же губернии, по всем селам проводится электрическое освещение. Для двигателя электрической станции приспособлена динамо-машина бывшего лесопильного завода Шестакова. В селе Кривце, Курской губ., кружок молодежи открыл курсы для взрослых. В селе Уст-Урень, Симбирской губернии, открыты кружком вечерние курсы для взрослых и театральные курсы. В селе Сорочинцах, Тульской губ., ячейка коммунистов организовала бюро труда, отдел внешкольного образования, распределительный пункт нормировочных продуктов, избу-читальню и т. д.

Все эти краткие сообщения из газет говорят нам об одном: что деревне надоело сидеть в темноте, и она хочет учиться, хочет знать. Мешают просветительной работе в деревне особенно старики, закосневшие в своем невежестве. На спектакли и на чтения с беседами они смотрят косо и видят в этом „последние времена“, а деревенские шептуны из кулаков нашептывают им об антихристе. Ну, старики развесят бороды и слушают. Так, например, в селе Тучкове, Владимирской губернии, школьники во главе с местным учителем организовали просветительный кружок, ставили спектакли, на которые приходили жители соседних деревень. Собирались открыть библиотеку и устроить лекции по сельскому хозяйству. Старикам не понравилась работа кружка, и они стали мешать молодежи. Всю работу разрушили.

Встречаются кое-где по селам и прежние николаевские слуги, поставленные около дела народного образования, как, например, в Надвинской волости, Смоленской губернии. Там волостным отделом народного образования заведует бывший земский начальник, который, по словам корреспондента, „ненавидит бедноту и ее власть. За время его назначения волость ни на шаг не пошла вперед в приобретении знаний, не организовано ни одного просветительного кружка“.

Не везде охотно идут навстречу крестьянам и волостные исполкомы, куда пробрались кулаки. Приехал в деревню Ишименку, Вятской губернии, член посадского волостного

исполкома, собрал сход и объяснил, что нужно открыть избу-читальню, обещал высылать газеты.

„Обрадовались крестьяне, отвели избу и тотчас снарядили человека ездить за газетами. Вот уже второй месяц ездит человек в волость, но ни одной газеты в деревню еще не пришло“.

Но как ни труден путь, как кулаки и темные люди ни ставят на нем рогатки для молодежи, крестьянская молодежь делает свое дело. Постепенно свет знания все больше и больше проникает даже в самые медвежьи углы, где о книге не было и помину. Крестьянская молодежь поняла, что без знания, с завязанными глазами не построишь новую, лучшую жизнь, и она идет к знанию стремительным шагом. И уже не найдется силы у людей старого закала, чтобы остановить это шествие в царство мысли и разума.

ПРИМЕЧАНИЯ

1917 г.

36. В казарме. Напеч. в „Жизни для Всех", 1917 г., № 3, март, столб. 325—330. Подзаголовок: „(Страничка)". При жизни Неверова не перепечатывался, но был исправлен им по печатному тексту. Воспроизводится в исправленной редакции. Написан был этот очерк значительно раньше, т. к. он упоминается в письме к И. Е. Лаврентьеву от начала января 1916 г.

37. Дома. — „Жизнь для Всех", 1917 г., № 4, апрель (на обложке — май), столб. 459—472. Подпись: А. Неверов. При жизни автора не перепечатывался, но текст был им исправлен; вошел в посм. сб. „Пропавшая страна", откуда и перепечатывается. Написан очерк, повидимому, еще до 1917 г.

38. Черное и белое. — „Жизнь для Всех", 1917 г., № 4, апрель (на обложке — май), столб. 479—485, под заглавием: „В глухих местах. Черное и белое". Примыкает к очеркам „В глухих местах", печатавшимся в „Жизни для Всех" в 1916 г. При жизни автора не перепечатывался. Текст был исправлен для подготовлявшегося собрания рассказов и вошел в посм. сб. „Серые дни", откуда перепечатывается здесь. Сверено с рукописью [1].

39. На полустанке. — „Жизнь для Всех", 1917 г., № 6, июнь, столб. 704—710. Дата: „1917 г. февраля 19 дня". При жизни автора не перепечатывался. Текст исправлен автором. Вошел в посм. сб. „Пропавшая страна", где включен автором в серию „В глухих местах" вместе с рассказом 1915 г. „Среди ополченцев". Дается этот последний текст.

40. Шапка с пером. Напеч. в журн. „Кооперация и Жизнь" (Самара), 1917 г., № 8, дек., стр. 35—38. Дата: „С. Елань. 23 декабря 1917 г.". Эта дата может лишь обозначать время переделки рассказа или отправки его в редакцию „К. и Ж.", т. к. написан рассказ значительно раньше: о нем упоминается в письме к Неверову из ред. „Нового Колоса" от 26 мая 1916 г.

1918 г.

41. Среди умирающих. — „Жизнь для Всех", 1918 г., № 1, столб. 13—24. Подзаголовок: „(Записки)".

42. В плену. — „Народная Жизнь", общественно-литературный и кооперативный журнал, изд. Средневолжского Союза Потребительных Обществ. Самара, 1918 г., № 6—7, № 8—9 и № 10—11—12 (журнал двухнедельный; на последнем № дата: 1 мая — 15 июня).

---

[1] Эти сведения (со слов: „При жизни автора..." до: „с рукописью.") относятся также и к рассказам: „Шапка с пером", „Среди умирающих" и „В плену".

43. Крест на горе. Рассказ, по сообщению П. С. Скобелева был напечатан в с.-р. газете „Народ“ (Уфа), № 1 от 10 сент.

44. Сказка. Напеч. там же, за подписью: Б. Зеленцов.

45. В коридоре под лампочкой. Напечатан там же, № от 25 окт. 1918 г.

46. На вокзале. Напеч. в Уфе, в с.-д. (меньшев.) газете „Голос Рабочего“, Уфа, 1918 г.; перепечатывается по газетной вырезке.

47. О трех сыновьях. Сказка. Напечат. в журнале „Красный паровоз“, Самара (1918 г.). Перепечатана в газете „Коммуна“, 1923 г., окт. 14, № 1448, и в посм. сборн. — „Александр Неверов. Рассказы, изд. „Земля и Фабрика“, М. — Л. 1924 г.“, откуда и перепечатывается здесь. Первопечатного текста найти не удалось. Дата (1918 г.) поставлена автором.

48. В глухих местах. 1. Воля. 2. На новых правах. 3. Темный лес. Напечатано в сборн. „Революция 1917—1918 гг. в Самарской губ.“, т. I, сб. под ред. П. Д. Климушина и др. Самара 1918, от. II, стр. 57—78. Подзаголовок: „(Очерки)“. Не перепечатывалось. Воспроизводится текст сборника. Хотя последний очерк использован в „Гусях-лебедях“, но издается здесь, во-первых, потому, что исключение его нарушило бы цельность всей трилогии, во-вторых — в качестве примера, как Неверов использовал для крупных произведений предварительные этюды.

Кроме того, в 1918 г. Неверовым напечатаны следующие произведения:

49. Сон. Басня. — „Народная Жизнь“, 1918 г., № 6—7. Самара. Подпись: Б. Зеленцов. Текста достать не удалось. Упоминается в списке произведений Неверова в сб. „А. С. Неверов“.

50. Волк и ягнята. Басня. — „Народная Жизнь“, Самара, 1918 г., № № 10—11—12, стр. 4—5, подп.: Б. Зеленцов.

51. Петух и куры. Басня. — Там же, стр. 59—60, подп.: Борис Зеленцов.

52. Паук и мухи. Басня. Где было напечатано — неизвестно; текст не разыскан; упоминается в списке произведений Неверова в сб. „А. С. Неверов“, изд. „Земля и Фабрика“, М. — Л. 1924.

1919 г.

53. Болезнь. Напеч. в журн. „Народная Жизнь“, № 1—4, янв. — февр. 1919 г., Самара, стр. 7—22. Вошло в сб. „Лицо жизни“, откуда и перепечатывается здесь.

54. Красноармеец Терехин. — „Красная Армия“ (Самара), 1919 г., № 1, март, стр. 11—18. Подзаголовок: „(Рассказ)“. Подпись: Аско [1]. Дата: Самара, 1919. Текст переработан автором и вошел в сб. „Я хочу жить“, М. 1923 г., откуда и перепечатывается здесь.

---

[1] Сокращенное своеобразно: А. Скобелев.

55. Шайтан. — „Красная Армия" (Самара), 1919 г., № 1, март, стр. 23—27. Подзаголовок: „(Сказка)". Подпись: А. Н. Текст переработан автором; вошел в сб. „Лицо жизни".

56. Стихотворение: „Пролетарская". — „Красная Армия", 1919, № 1, март, стр. 6, подп.: Аско. Перепечатывается в приложении.

57. Сапог. Басня. — Там же, стр. 32—33. Подпись: А. Насмешник. Перепечатывается в приложении.

58. Об Ивановой душе. Напеч. в газ. „Красная Армия", 1919, № 2. Перепечатано автором в журн. „Рассвет" (Москва), 1922 г., № 1, янв.—февр., стр. 92—94, и в сб. „Лицо жизни". Текст взят из этого сборника.

59. Новый дом. — „Красная Армия", 1919, № 2, и сб. „Волжские Утесы". В исправленном автором виде вошел в сборн. „Лицо жизни", откуда и перепечатывается.

60. Я хочу жить. — „Красная Армия", 1919 г., № 3, май, стр. 5—7, подзаголовок: „(Рассказ)". Подпись: Аско. Перепечатывался автором (с исправлениями) в газ. „Коммуна", 1922 г., № 926, от 14 января, в сборн. „Лицо жизни", М. 1923, и в сборн.: „Я хочу жить", М. 1923. Дается этот последний текст.

61. Весна. — „Красная Армия", 1919, № 3, май, стр. 16. Подпись: Аско.

62. О коммунах. — Там же, отд. „Беседы", стр. 31—34. Подпись: А. Сергеев. Перепечатывается в приложении, как образец агитационных статей Неверова.

63. Десять тысяч. — „Красная Армия", 1919, № 4, июнь, стр. 14—19. Подпись: Аско. Текст в 1922 г. исправлен автором и вошел в сборн. „Лицо жизни", откуда и перепечатывается здесь.

64. Поклонение волхвов. — Там же, отд. „Сатира и юмор", стр. 28—29. Подпись: А. Насмешник.

65. Как живут по-новому. — Там же, стр. 38—39. Подпись: А. Сергеев. Статья, являющаяся дополнением к статье „О коммунах" и составленная из выписок из газет об устройстве коммун.

66. Деревня и просвещение. — Там же, стр. 39—41. Подпись: А. Новиковский. Перепечатывается в приложении.

67. Георгий Николаевич Саров. — „Народная Жизнь", 1919, № 11—12, июнь, стр. 7—10. Некрологическая заметка.

Г. Н. Саров — товарищ Неверова по школе; был соц.-рев.; расстрелян Колчаком.

68. Туда. Рассказ. — „Красная Армия", 1919, № 5, июль, стр. 5—7, Подпись: Аско. Вошел с исправлениями в посмертный сборник: А. Неверов, „Повесть о бабах и другие рассказы", изд. „Земля и Фабрика", М. — Л. 1924.

69. В глуши. 1. 70 верст штрафу. 2. Ачейка. — „Кр. Армия", 1919, № 5, июль, стр. 11—14. Подпись: Аско. Не перепечатывалось.

70. Деревня и просвещение. — „Красная Армия“, 1919, № 6, август, стр. 38—39. Подп.: А. Новиковский. Дополнение к № 65.

71. Лошадь и погремушка (Басня). — „Красная Армия“ 1919. Подп.: А. Насмешник.

72. По-новому. Напечатан в журн. „Красноармеец“, 1920, № 10—15, стр. 51 — 55, с пометкой: Удостоен 3-й премии на конкурсе журнала „Красноармеец“. Исправлено в 1922 г. автором. Вошел в сборн. „Лицо жизни“, откуда и перепечатывается здесь. Дата (1919 — 1922) поставлена автором.

73. Случай из жизни. (Первоначальное заглавие: „Случай из жизни Саньки маляра“). Рассказ получил 3-ю премию на конкурсе Агит-Роста и был напечатан в газете „Агит-Роста“; с исправлениями, сделанными в 1922 г., вошел в сборн. „Лицо жизни“, откуда и перепечатывается. Дата: 1919—1922.

74. Кровать. Напеч. в газ. „Коммуна“, 1922, № 904, дек. 18. Подпись: А. Неверов. Дата поставлена автором. В исправленном виде вошло в сборн. „Марья-большевичка“, Самара, 1922, и затем в сборн. „Лицо жизни“, откуда и перепечатывается здесь.

75. Корона. Напеч. в сборн. „Театр красноармейца“. Сборник пьес и декламации. Вып. I. 1919. Самара, стр. 3—14. Подпись: Аско. Текст дается по „Т. К.“.

76. Контр-революция. Напеч. там же, стр. 15—28. Подпись: Аско. Не перепечатывалось. Дается текст из „Т. К“. Первоначальный набросок этой пьесы в значительно более краткой редакции напечатан в № 6 „Красной Армии“, 1919, стр. 20—22, под заглавием „Последние дни (Шутка)“, за подписью: Аве.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Стихотворения А. С. Неверова

а) Пролетарская. См. примеч. 56 на стр. 230.
б) Сапог (басня). См. примеч. 57 там же.

2. Статьи А. С. Неверова

а) О коммунах. См. примеч. 62 на стр. 230.
б) Деревня и просвещение. См. примеч. 66 там же.

СОДЕРЖАНИЕ